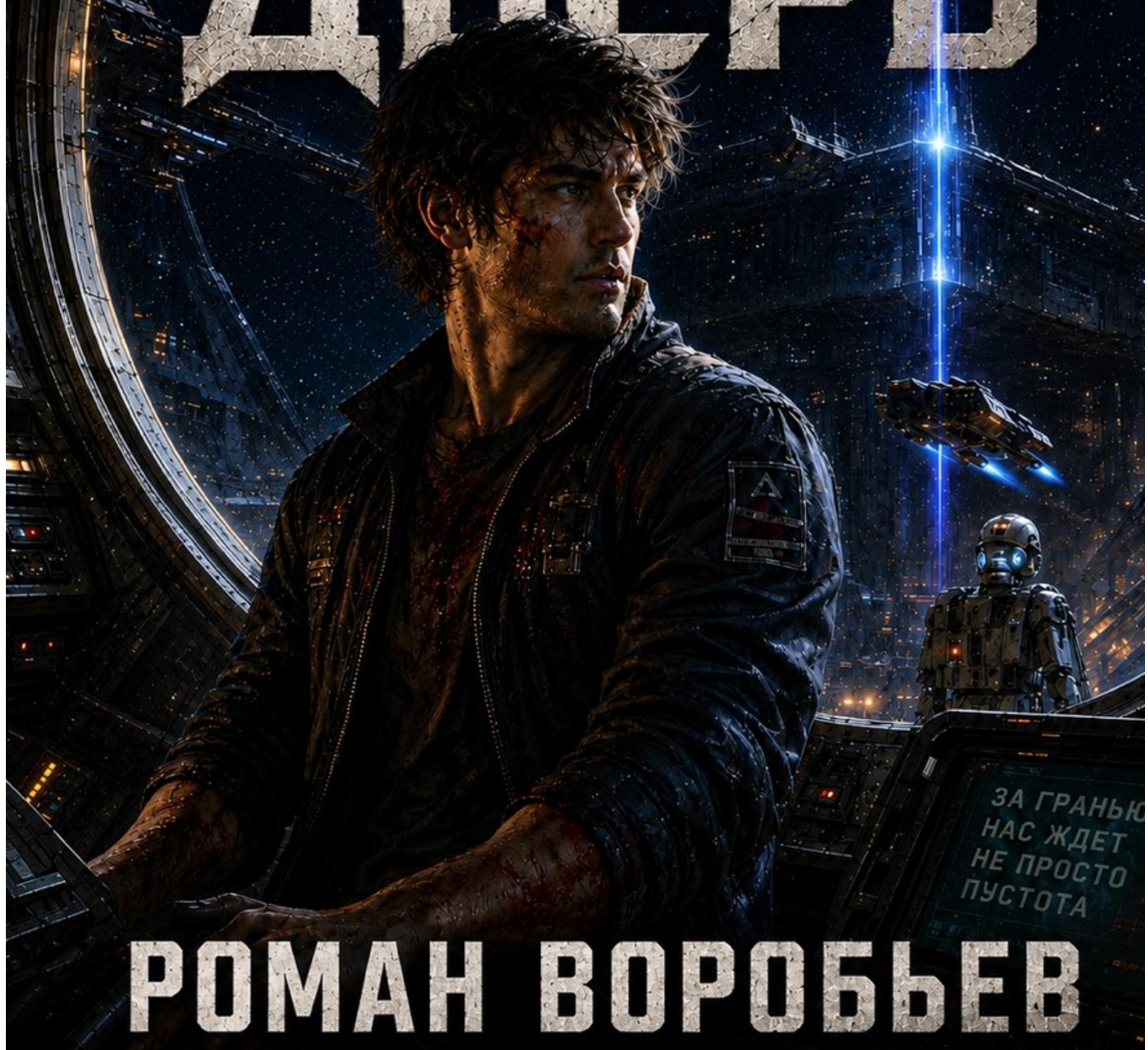


ПОРОГ СЛОМАННАЯ ДВЕРЬ 1



ЗА ГРАНЬЮ
НАС ЖДЕТ
НЕ ПРОСТО
ПУСТОТА

Порог

Роман Воробьев

Порог. Сломанная дверь. Том 1

«Автор»

2026

Воробьев Р.

Порог. Сломанная дверь. Том 1 / Р. Воробьев — «Автор»,
2026 — (Порог)

«Точка-12» молчит тринадцать суток. Маяк работает, эфир идеально чист — и никто не отвечает. Для команды трампового грузовоза «Молчун», завязшей в долгах верфи, это обычный контрабандный рейс: проверить тишину, разгрузиться, уйти. Плата слишком щедрая, манифест подозрительно аккуратный, а в трюме — контейнер, который не поддаётся ни сверлу, ни гвоздодёру. Дану Веко, практиканту-навигатору без лицензии, тишина слышна иначе. Он ведёт корабль «по слуху» — по голосу Паутины, сети маршрутов. Но теперь в его нервную систему вжился чужой инструмент, Ключ Строителей, и станция молчит не потому, что сломалась. Она молчит, потому что открылась. Дверь, которую никто не открывал, — а вынуть из носителя Ключ нельзя, не убив носителя. За «Молчуном» идёт охота: смотритель Гильдии, умеющая находить таких, как Дан. И единственное, что нельзя сделать с этой дверью, — сделать вид, что её нет. Что за ней? И почему она открылась именно сейчас, когда на борту появился тот, кто умеет её слышать?

Содержание

Пролог	5
Глава 1. Рейс в долг	8
Глава 2. Голос из трюма	16
Глава 3. Тишина	25
Глава 04. Порог-12	33
Глава 05. Эхо	43
Глава 06. Слепое пятно	51
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Роман Воробьев

Порог. Сломанная дверь. Том 1

Пролог

Припой я держал в зубах. Обе руки были заняты: в левой паяльник на батарейках, в правой пинцет с зачищенным проводом, а третью руку мне никто не выдал. Паяльник грелся долго, минуты по три. Всё это время я сидел на корточках в техническом коридоре у трюма номер три и слушал собственный затылок.

Затылок жёгся толчками, в такт с чем-то, что шло снаружи корпуса. Сквозь обшивку, сквозь шпангоуты, в кость.

Порт под волосами я собрал сам, из выпотрошенного медицинского контроллера и трёх катушек от списанного маяка. Гильдейский нейропорт стоит четыре моих годовых. Мой стоил две недели, моток серебрянки и ожог, из-за которого я до сих пор не стригусь коротко.

— Третья контрольная точка пройдена. — Голос Аглаи упал из динамика над головой, записанный, ровный; он ходил по кораблю каждые восемь часов. — Ход штатный. Отбой продолжается.

Динамик щёлкнул и умолк. За переборкой застучал разболтанный клапан рециркулятора: три удара, пауза, три удара, пауза, всегда невпопад с приводом. Привод был ниже слуха, рёбрами жёсткости, и от этого воя ныли пломбы.

Жало легло на контакт, олово село ровно, шов вышел чистый. Теперь частота.

Настраиваю я одним способом: щёлкаю зубами. От щелчка челюсть дрожит, и по дрожи ловится момент, когда шум в голове расслаивается на нити. Привычка дурная. Док обещал, что к тридцати я останусь без коренных, и, судя по тому, как ноет сустав под ухом, док не врал.

Над коленом было смотровое окно, ладонь в поперечнике, кварц, залапанный поколениями практикантов. За ним шла Паутина. Синие завихрения с янтарной прожилкой внутри, медленные и огромные, а корабль тащило в них, как щепку тащит в водостоке. В коридоре от этого стоял холодный синий свет, он мешался с тускло-красным дежурным, и руки в этой смеси выглядели чужими.

Щелчок. Щелчок. Шум расслоился.

Сначала пошла несущая, ровный шелест, который в Паутине стоит всегда. Под ним обнаружился ритм. Под ритмом было слово.

— ...ан.

Я замер с паяльником у щеки. Голос был мужской, севший, будто человек говорит через сжатые зубы, и он звал по имени. Дан. Он звал меня по имени, а последние шесть лет я слышал этот голос только на трёх уцелевших записях боржурнала.

Отец.

Я развернул пеленг. Штука простая: медленно поворачиваешь голову и смотришь, где сигнал жирнее. Он шёл спереди по курсу, из Паутины, и это было объяснимо, маршрут поёт и держит след всех, кто по нему прошёл. Потом я повернулся ещё, к переборке, и сигнал вырос вдвое.

Он шёл из трюма. С нашего корабля. Из груза, который мы взяли у Марики Зиги три дня назад в Тупике и который она велела не трогать до самой Точки-12.

Я выплюнул припой в ладонь.

Затвор трюма три сидит на сигнальной шине давления: откроешь створку без разрешения с мостика, шина уронит напряжение, и через две секунды у Аглаи над койкой запищит. Обойти её умеет любой навигатор, отец показал мне это раньше таблицы узлов. Медная проволока в

изоляции, зачистить оба конца, накинуть на клеммы поверх разъёма. Цепь замкнута, датчик считает, что створка стоит на месте и держит номинал.

Створка пошла в сторону на ручном приводе, и мне в лицо ударил холод.

В трюме держат ноль. Груз Зиги шёл в режиме консервации, и на второй минуте изо рта у меня повалил пар, а фонарь высветил в воздухе взвесь инея. Пальцы на рукояти задубели сразу.

Ящики Аего-9 стояли в четыре ряда, обычные, с трафаретами и пломбами. За ними, в углу, притянутый двумя ремнями к палубе, стоял чёрный контейнер.

На нём не было ничего. Ни трафарета, ни номера, ни клейма Гильдии, ни даже сварочного шва. Луч фонаря лёг на крышку и погас в ней. Отражения не было вовсе, и от этого казалось, что в углу трюма вырезан кусок пустоты по форме ящика.

Порт в затылке завибрировал. Частота была такая, что зубы сошлись сами, и я разжал челюсть руками.

Я подошёл и повёл фонарём вдоль ремней. Защитный кожух держали шесть барашков, обычных, под пальцы. Отвернул один, и вибрация в затылке стала ровнее, будто я подкрутил частоту. Отвернул второй. Ровнее. К шестому она уже не жгла, она вела, как ведёт стрелка на маяк.

Дальше я не думал. Снял кожух, поставил его на палубу и положил ладонь на матовую крышку.

Крышка ушла вниз без звука.

Внутри лежал жгут тёмных волокон, свитый втрое, и он тёк. Стекло, которое течёт и не капает. Я успел увидеть, как волокна разом повернулись ко мне.

Потом меня ударило.

Мир побелел с краёв. Звук вырубил начисто, вместе с приводом, вместе с клапаном, вместе с собственным дыханием, и в этой тишине осталось одно: как в затылке рвётся изоляция. Пахнуло палёным. Спина выгнулась, палуба ушла из-под колен, я лёг на неё щекой, а тело продолжало биться само по себе, будто через него гоняли ток и забыли выключить.

Оно шло по позвонкам. Сверху вниз, ступенями, и каждый позвонок отзывался отдельно.

Потом боль кончилась. Разом, как отрезали.

По венам пошёл холод, ровный, от шеи в плечи и дальше в кисти. Кровь из носа я почувствовал раньше, чем увидел: тёплая полоса до губы, вкус железа.

А перед глазами развернулась схема.

Она стояла поверх трюма и не мешала его видеть: тонкие янтарные линии, шкала слева, надпись внизу. Шкала была почти полная, девяносто семь из ста, и у верхнего края в ней сидела щербина, узкая, будто оттуда выкрошили кусок.

Надпись была на языке, которого я никогда не видел. Я прочитал её мгновенно.

Слой I: Следопыт. Авторизация успешна. Узел зафиксирован.

Я поднял голову, и стены трюма перестали быть стенами. Сквозь них, сквозь борт, сквозь пустоту снаружи шла Паутина, и теперь у неё была форма. Сетка. Синие нити маршрута, натянутые в три яруса, узлы на пересечениях, янтарные пометки там, где нити тоньше. Наш корабль полз по одной из нитей, маленький и медленный, и нить под ним прогибалась.

Затем сетка дёрнулась. Один раз, вся целиком, от края до края, как дёргается паутина, когда в неё что-то село.

Сел в неё я.

Голоса вернулись раньше, чем я сумел встать.

Сначала лязгнула задрайка, потом ударил свет, белый и злой, аккумуляторный прожектор, который Тарас таскает с собой даже в гальюн. Луч прошёл по ящикам и остановился на мне.

— Ты чего тут разлёгся?

Тарас стоял в проёме, в комбинезоне на голое тело, с гаечным ключом на двадцать семь в опущенной руке, и чесал живот. Живот был волосатый и в масле. Пар от его дыхания шёл клубами.

— Гудело, — сказал он. — По шпангоутам до самой койки достало. Я думал, вентиль продувки опять свистит. Его, между прочим, конструкторы засунули туда, куда человек с рукой не пролезет, а без руки не открутит. Гении.

Я сел. Получилось со второго раза, руки тряслись так, что пришлось упереться в палубу локтями. Кожух лежал у моего колена. Я задвинул его коленом под ремни, пока луч гулял по ящикам.

— Распределители массы, — сказал я. — Нас с обеда тянет влево на тяге. Полез смотреть перекося, поскользнулся, приложился носом.

Луч нашёл кровь у меня на подбородке, потом ушёл выше, на затылок.

— У тебя порт дымится.

— Конденсат. — Я вытер нос запястьем и посмотрел на размазанное. Кровь была тёмная, почти чёрная. — Тут ноль, я дышал на железо, оно и коротнуло. Говорил же: помойка, а не порт.

Тарас поводил лучом по чёрному контейнеру. Контейнер стоял закрытый, гладкий, и свет по нему не пошёл.

— Аглая тебя за этот трюм разложит на запчасти, — сказал Тарас. — Твоя доля табака за рейс. Вся. И я тебя тут не видел, я шёл вентиль щупать.

— Половина.

— Вся. — Он свистнул сквозь зубы. — Ты на себя глянь. Я тебя сейчас в медотсек поволоку, а док спросит, где взял. Врать тоже работа, между прочим.

— Вся, — согласился я.

Он подставил плечо. Я встал, трюм качнулся, и от Тараса пахнуло машинным маслом и вчерашней тушёнкой, и это был самый нормальный запах за весь час.

Жгут внутри меня улёгся. Я чувствовал его точно: он свернулся вдоль позвоночника, от шеи до поясницы, тёплый, и притих.

В коридоре синий свет Паутины снова лёг мне на руки. Схема ещё стояла перед глазами, бледнее, и на ней проступила новая строка.

Слушатели предупреждены. Ожидание ответа сети.

— Ноги переставляй, — сказал Тарас.

Я переставлял. Сеть где-то там уже читала мой сигнал, и кто-то в ней собирался ответить.

Глава 1. Рейс в долг

Тупик, ремонтная верфь. День выхода.

— Практикант, тридцать два. И не тот огрызок, что ты вчера утопил в поддоне.

Тарас сидел на втором ярусе лесов, свесив ноги в проём, и с его сапог капало: полчаса назад он опрокинул на себя ведро, в котором мы держали руки, чтобы не жгло, и с тех пор утверждал, что так и было задумано — мокрым работать прохладнее. Тридцать второй ключ я забросил ему снизу. Он поймал, не глядя, и ушёл головой в кожух.

Мы меняли компенсатор на маневровом тракте, левый. У нашего прогорело по нижней гофре, и последние два месяца Молчун ходил с заглушенной левой парой, то есть боком, то есть никак. Новый стоит четырнадцать тысяч. Тот, что Тарас притащил вчера в мешке из-под крупы, стоил девятьсот и был снят с буксира, который на прошлой неделе разложили на металл.

Леса гудели от прожекторов. Натриевые лампы висят над доком в четыре ряда, и к полудню воздух под ними стоит плотный, оранжевый от пыли, и в этом воздухе нечем дышать. Я прислонился плечом к трубе и тут же отлепился: роба на плече прихватилась и потянула кожу. К металлу здесь нельзя прикасаться с одиннадцати до пяти. Это знает каждый, кто тут вырос, и каждый раз всё равно проверяет.

— Ставлю долю табака за рейс, — сказал Тарас в кожух. — На прогреве она запоёт. Ровно, на одной ноте.

— Застучит.

— Слышь. Она стучит, когда ей больно. Ей не больно, я ей всё поправил.

— Она с покойника снята.

— Так и мы с покойников. — Он высунулся и вытер лоб запястьем, оставив на лбу масляную полосу. — Весь этот сектор с покойников снят, и ничего, ходит.

Внизу мимо опоры прошёл мальчишка с термосом, объявляя чай по монете за стакан.

— Самовар! — крикнул я ему. — Два навверх, монеты у механика.

— У механика они позавчерашние, — сказал мальчишка, но полез.

Чай у него был жуткий, заваренный, кажется, по второму кругу, но брали все: холодной воды тут не бывает, а горячее почему-то легче. Под опорой, в тени, лежала доковая собака, рыжая, с драным ухом. Она подняла голову, посмотрела на мальчишку, поняла, что тот несёт не еду, и легла обратно.

Мастер стоял под лесами третий день подряд.

Он держался у крайней опоры, не загораживая проход, в чистой рубашке с закатанными рукавами, и время от времени отмечал что-то в блокноте. Док вокруг него гремел. Напротив, через пролёт, варили шпангоут, и от вспышек по нашему борту ходили белые пятна.

Аглая пришла от конторы, снизу, и я услышал её раньше, чем увидел: у неё на поясе висят ключи и гвоздодёр, и они звякают в одном ритме с шагом.

— Идёмте в контору, — сказала она. — Там чайник.

— Здесь тоже хорошо.

Он сказал это спокойно, вежливо, и я поймал себя на том, что держусь за поручень лесов двумя руками, а перчатка прилипла к нагретому металлу. Он сделал два шага и встал так, чтобы его было видно с трёх стапелей сразу. Достал из нагрудного кармана сложенный вчетверо лист, старый, замусоленный по сгибам, на официальном бланке. Развернул.

И начал читать.

Читал он отчётливо, как читают опись, отделяя цифру от цифры паузой. Напротив, через пролёт, на середине шва заглох сварочный автомат, и больше его никто не включил.

— Стоянка на закрытом стапеле, три месяца полных. Ремонтные работы, два месяца, по наряду от четырнадцатого. Материал со склада по трём накладным. Штраф за просрочку,

начислен с шестого. Итого сто двенадцать тысяч кредитов. Срок оплаты — сегодня до конца смены.

Чужая команда на соседних лесах вдруг очень занялась своим редуктором. Никто не ушёл. В Тупике никто никогда не уходит, когда читают чужой долг: это здесь единственное развлечение, за которое не берут денег.

Аглая стояла, заложив большие пальцы за пояс, и смотрела не ему в глаза, а в шов на его рубашке. Лицо у неё при этом не двигалось совсем, даже веки.

— Половину сегодня, — сказала она. — Остаток через рейс.

— Нет.

— Тогда две трети.

— Нет.

Я шагнул из-под лесов сам. Тут я один умел перевести её долг в смены — в настоящие, руками, а не в бумажные, — и мне надо было, чтобы это увидели. Дальше меня понесло, я знал, что несёт, и всё равно не заткнулся.

— У вас сварщик берёт девяносто в смену, — сказал я. Ветошь я так и держал в кулаке и мял её. — Я хожу по двенадцать часов, механик по четырнадцать. Возьмите сменами.

Мимо потащили тележку с баллонами, я сбился на середине счёта и договорил громче, чем собирался.

— Мы вам за три месяца шестой пролёт перебрать успеем, у вас там опора гуляет, я видел, подпятник надо резать.

Мастер дождался, пока я закончу, и повернулся ко мне. Смотрел он так, как смотрят на человека, который считает вслух и ошибается.

— Девяносто в смену, — повторил он. — Сто двенадцать тысяч. Это тысяча двести сорок смен. Двоих — шестьсот двадцать. Это почти два года, парень, без единого выходного, и это если вы за два года ни разу не поедите и не заболите.

Верфь слушала.

— Дан. Молчи.

Аглая сказала это коротко и совсем не громко. Так, что дошло до всех.

Я замолчал и отвернулся к трубе, и стал тереть ветошью фланец, который вытер полчаса назад. Жар шёл снизу, от плит, и сверху, от ламп. В ушах звенело от автомата напротив, на зубах скрипела окалина, и от неё во рту сохло и вязало.

Меня при всех разложили на смены, как деталь на операции. И полез я в адвокаты за капитана, которому адвокат не нужен.

Всё время, пока она молчала, я ждал, что она скажет вслух то, что и так знает весь док: что на борту я лишний рот. Не сказала. Легче от этого не стало.

Он сложил лист вчетверо и спрятал на груди.

— Твоя мать брала у меня хлеб в долг, — сказал он мне. — Восемь лет, по субботам. Я ни разу не спросил, когда вернёт.

Руки у меня встали. Субботы. Очередь у хлебного окна, мать впереди, я держусь за её карман, и вот такая же книжка, и в ней отмечают. Сказать на это было нечего, и я промолчал.

Он застегнул карман. Оправил рукав.

— Тот, кто решил, не торгуется, — сказал он уже Аглае. — Я решил в понедельник.

И пошёл к проходу. У самой опоры остановился, будто вспомнил что-то мелкое, из-за чего и возвращаться неловко.

— Зига ищет перевозчика, — сказал он, не оборачиваясь. — Марика. Точка-12, груз маленький, платит щедро. Для тебя в самый раз.

Собака под опорой поднялась и потрусил за ним, приняв его за источник еды. Он ушёл, и мимо нас снова пошли люди с тележками, и напротив включился автомат.

Аглая стянула перчатки и смотала их в трубку.

— Собирайся, — сказала она мне. — Пойдёшь со мной.

Наверху Тарас тянул хомут, который был затянут ещё до чая. Тянул медленно, и не свистел сквозь зубы, как свистел всё утро. Чужой стапель. Ключ дадут, решать не дадут.

Выход для неё подобрали заранее. Подобрал его тот, кому она должна.

Весовая стояла на грузовом ярусе, между складом и рампой: конторка на четыре шага в ширину, товарные весы с чугунными гирями, электрочайник и вентилятор под потолком, который гонял по кругу тот же горячий воздух, что и на улице, только с добавкой пыли. За фанерной перегородкой кладовщик ронял что-то железное и ругался. По громкой связи диспетчер каждые две минуты вызывал борт Кетра-восемь, и Кетра-восемь не отвечала ни разу.

Марика Зига сидела на табурете боком к весам и перекладывала с колена на стол бумаги и ключи от склада, потом со стола на колено. В весовой стояла духота, от которой ломило виски. Она была в стёганой безрукавке и не потела.

— Так, — сказала она, едва мы вошли. — Хорошо, что быстро. Рейс: Тупик, Точка-12, прямой, без промежуточных разгрузок. Груз мелкий, сорок мест плюс одно отдельное. Сто сорок за рейс, семьдесят вперёд, наличными чипами, вот они, я их уже отсчитала, пока ты шла.

Она положила на весы пачку чипов. Стрелка качнулась и легла.

Обычный тариф на такое плечо — тысяч сорок пять, и то если у тебя своя тара и ты берёшь обратный груз. Аглая на чипы даже не посмотрела, и я по её лицу понял, что она свела ту же цифру и в тот же момент.

— Почему втрое? — спросила она.

— Потому что срок. Мне надо, чтобы он был там на четвёртые сутки, а у всех, кто идёт туда, очередь на узле. У тебя очереди нет, ты стоишь на стапеле и никуда не идёшь. Я плачу за то, чтобы ты вышла сегодня. Сколько ты должна верфи?

Печатка на её мизинце щёлкнула по столу. Один раз.

— Это моё дело.

— Сто двенадцать. — Марика улыбнулась, и улыбка эта была быстрая и совершенно деловая. — Тупик маленький, Аглая. Я знаю, сколько ты должна, и мастер знает, сколько я плачу. Мы с ним не сговаривались, мы просто оба умеем считать. Манифест.

Она подала планшет. Аглая взяла, и я заглянул из-за плеча: список Аего-9, фильтровальные картриджи, вес по местам, маркировка, всё как у любой мелочи, которую возят по краю тоннами. Аглая довела палец до середины экрана.

Марика забрала планшет.

— Там всё стандарт, не читай, — сказала она. — Вернее, читай. Но не находи ничего.

Вентилятор сделал круг. Кладовщик за перегородкой опять уронил железо. Я переложил её планшет из руки в руку — свой, капитанский, я держал под мышкой, потому что второй в весовой стоит и держит планшет.

— Что на станции? — спросила Аглая.

— Разгрузка на станции. Приняли, расписались, ушли.

— Точка-12 молчит восьмые сутки.

— Значит, у них связь. — Марика уже перекладывала бумаги, и в её руках это выглядело как ответ. — Аглая, я не покупаю станцию. Я покупаю рейс.

Ключи от склада съехали с колена на стол и вернулись на колено. Вентилятор сделал ещё круг и погнал мне в шею тёплое; я отступил на шаг и положил ладонь на чугунную гирию. Гирия была холодная — единственная холодная вещь на всём ярусе.

— Далеко она от края? — спросил я.

Марика посмотрела на меня. Печатка не щёлкнула. Руки, которые всё это время что-то перекладывали, легли на стол и остались лежать. Она смотрела мне в лицо, потом чуть выше и вбок, за плечо, на затылок под волосами. Секунду, не больше.

— Пограничная, — сказала она. — Последний узел, дальше Кромка. А тебе зачем?

Волосы я ношу длиннее устава не просто так. Рука сама пошла к затылку и встала на полпути, и я дотёр ею бровь.

— Открытки собираю. С края карты. Там виды богатые: пусто, пусто и ещё немножко пусто.

— Открытки, — повторила она. — Это хорошо. Это молодое.

Карту края я знаю на память, потому что шесть лет её разглядываю. Точка-12 сидит на самом обрезе, третьим узлом от той развязки, за которой отец в последний раз отметился в журнале. От станции до его последней отметки — двое суток хода, если идти по рельсам, и меньше, если не по ним. Я стоял в весовой, слушал вентилятор и мерил эти двое суток так и эдак, пока Аглая молчала над чипами. Без Молчуна до той развязки мне не дойти ни на чём: ни работы, ни дороги, ни повода когда-нибудь там оказаться.

Отец говорил: слушай тишину, тишина тоже звучит.

Аглая накрыла чипы ладонью и секунду не убирала руку, и смотрела при этом не на деньги, а на дверь весовой. Спорить ей было нечем: за дверью стоял стапель, а на стапеле стоял её корабль. Она собрала чипы и убрала под комбинезон. Весы качнулись и легли на ноль.

— Умница, — сказала Марика, вставая. — Контейнер привезут к восьми, с ним будет мой человек, он поедет до аппарели и вернётся. Да, и ещё.

Она уже была в дверях.

— Груз не трогать. До самой Точки-12. Ни вскрывать, ни перекладывать, ни щупать. Он сам едет. Он за это и заплачен.

Дверь весовой хлопнула, и по громкой связи диспетчер снова вызвал Кетру-восемь.

На рампе я поймал себя на том, что иду быстрее Аглаи и насвистываю. Корабль оставался наш, стапель нас отпускал, а курс лёг в ту сторону, куда я всё равно смотрю каждый вечер. Свист оборвался у меня на середине такта. Я сбавил шаг и пропустил её вперёд.

Груз пошёл на борт в семь, когда свет на верфи переключили с дневного на дежурный и жара наконец начала отпускать.

Ящики Аеро-9 катали на тележках, по четыре места за ходку: я тащил, Тарас принимал у порога и распахивал по трюму. Он воевал с центровкой, как всегда. Молчун старый, у него по правому борту вварена лишняя переборка после давнего ремонта, и любой груз, поставленный ровно по описи, кладёт корабль на два градуса вправо.

— Тяжёлые вниз, к диаметральной, — командовал он. — Лёгкие в нос. Дан, не по номерам ставь, по весу. Опись потом перепишем, опись бумажная, она стерпит, а тяга не стерпит.

Двое грузчиков таскали ровно на свои деньги: подали, отошли, сели. Рина сидела на ящике у самого порога с планшетом на коленях и болтала ногами. Док Вей стоял поодаль, у стойки под фонарём, и курил. Рыжая с драным ухом перебралась сюда от опоры вслед за судками из ларька и легла под трапом, откуда пахло едой.

— Веко, ты серый, — сказала Рина, не отрываясь от экрана. — Как переборка. Тебе идёт, но ты сядь.

— Жарко.

— Ага. Всем жарко, серый один ты.

Платформа с чёрным ящиком стояла у рампы с шести и ждала, пока уберут Аеро-9. При ней был человек Марики: сухой, в застёгнутой по горло куртке не по погоде, в доке, где все были мокрые. Я про себя называл его Пиджаком. Обещали контейнер к восьми, а он торчал у рампы с шести — за фильтровальные картриджи так не спешат. Завезли платформу последней.

Пиджак шагнул к переднему углу и сунул руки в карманы. Он не поздоровался. Смотрел он не на груз, а на нас: по очереди, сверху вниз, как считают.

Контейнер был по грудь высотой и стоял на платформе один. Ни трафарета, ни номера. Я обошёл его кругом, выискивая глазами то, что бывает на любом ящике, — бирку перевозчика, наклейку таможни, хотя бы клеймо Гильдии, — и не нашёл ни одной. Сварного шва на нём

тоже не было. Фонарь над аппарелью бил прямо, и свет по крышке не пошёл. Он в неё сел. Луч кончился на крышке, и там, где на любом ящике было бы белое пятно, у этого была ровная чернота, как будто светишь в дыру.

Ну и что это.

Я отвёл фонарь, зашёл с другого угла и посветил снова. То же самое. Ладонь сама вытерлась о робу.

Тарас потянулся к торцу с ручным динамометром.

— Слышь, мужик. Опишь врёт красиво, а тяга не врёт вообще. Массу дай.

Пиджак оказался между ним и контейнером быстрее, чем это выглядело прилично.

— В описи есть.

— В описи есть у тебя, а перекося будет у меня.

Тарас опустил динамометр, зашёл с торца и стукнул по стенке костяшкой. Послушал. Стукнул ещё раз, ниже.

— Я его на палубу ставлю, я его ремнями вяжу. Если он у меня на разгоне поедет, он мне борт вскроет, как консерву, и спрашивать будут с меня, а не с тебя.

— Тарас.

Аглая стояла у створочного щитка с описью и не повышала голоса.

— По описи девятьсот двадцать кило. Ставь к правой скуле, две восьмёрки крест-накрест, третий ремень поперёк. Не трогай.

Схему она выдала не глядя в опись. Откуда. Не сейчас.

Тарас посмотрел на неё, потом на контейнер, свистнул сквозь зубы, и динамометр так и остался висеть у него на ремне, а руки сами вытерлись о бедро. И пошёл за ремнями.

Тележка шла тяжело, и мимо контейнера я провёз её последней.

В затылке щёлкнуло. Один короткий, злой щелчок, как когда касаешься пальцем панели, из которой не разрядили конденсаторы: свело скулу, и от порта под волосами дёрнуло вниз, до середины шеи. Тележка вильнула, я поймал её бедром. Постоял.

Опять двадцать пять. Порт я собирал сам, из выпотрошенного медконтроллера и катушек от списанного маяка, и пайка на второй катушке у меня холодная — я знал это ещё когда паял, и давно собирался переделать. Такой ловит всё подряд, а в доке три сварочных поста и подъёмник на старом приводе. За смену уже не впервые. Я потёр затылок и покатил дальше.

Док Вей у стойки повернул голову. Ничего не сказал. Затянулся, посмотрел на меня секунды три и потушил сигарету о ладонь.

— Аглая, — позвала Рина от порога. — А почему тут узлов нет?

— Что?

— Транзитных отметок. — Она подняла экран над головой и потрясла им. — Груз идёт со Спицы, через два узла минимум, на нём должны быть отметки прохода. Тут ни одной. Он как будто на верфи родился и сразу к нам.

— Оформили заново.

— Так не оформляют заново. Так оформляют впервые. — Рина сползла с ящика. — Аглая, у честного груза бумага грязная. У этого чище, чем у...

— Рина. Аппарель.

Створки пошли вниз. Тарас выставил режим консервации: заказчица требовала ноль по трюму на весь переход, и компрессор внизу взял высокую ноту и на ней остался.

Ели прямо там, на ящиках у закрытых створок, из ларьковых судков. Судки были горячие, промасленные насквозь, и бумага под ними расползалась.

— Котлет было пять, — сказала Рина.

— Четыре.

— Пять, Тарас. Я их сама укладывала.

— Ты их пальцем тыкала, а палец у тебя врёт в свою пользу. — Тарас невозмутимо жевал. — И вообще. Ты знаешь, почему тут котлеты вкусные? Потому что масло в Тупике одно. Оно с основания сектора одно и то же, его только доливают. В нём всё, что тут жарили с тех пор. Это уже не масло, это архив.

— Это гепатит.

— Это вкус, — сказал Тарас. — Гепатит у меня уже был, он тише.

— Рин, ты губами шевелила, когда брала, — сказал я. — Я видел. Пятую ты съела в очереди и записала на общий счёт.

— Я на общий счёт съела твою совесть, Веко. Она была мелкая. — Рина запрокинула голову и посмотрела вверх, на леса, на лампы, на всю эту оранжевую пыль. — Тысяча четыреста двадцать один, кстати.

— Чего тысяча четыреста двадцать один?

— Дней. Я их отмечаю с пятнадцати лет. Сегодня минус один, и это лучшее, что тут со мной случилось.

Тарас отломил от котлеты половину и бросил вниз, под трап. Оттуда прошуршало и хрустнуло.

— Ты её подкармливаешь.

— Я? — Он посмотрел на меня с искренней обидой. — Она сама подошла. Я тут вообще ни при чём, у меня на собак аллергия, у меня от них глаза текут. Вот смотри, уже текут.

Он полез за пазуху, достал жестянку с табаком и отсыпал мне половину, не считая.

— Не понял, — сказал я.

— Она застучала. — Тарас смотрел в судок. — На прогреве, в половине шестого. Дважды. Ты не слышал, ты по рампе бегал. Держи вперёд за два рейса, чтобы ты мне потом не пел про проценты.

Рина захохотала так, что подавилась.

Один из грузчиков сидел рядом на ящике и ковырял наушник; наушник трещал и глох. Рина забрала его молча, вытащила из хвоста заколку-антенку, которую полдня пыталась припаять, разогнула, поддела корпус и что-то там прижала. Наушник ожил. Грузчик сказал спасибо, Рина сказала «ага» и вернулась к котлетам.

Док подсел ко мне, отломил половину своей лепёшки и положил мне на колено. Молча. Я взял.

Лепёшка была вчерашняя, жёсткая по краю. Я жевал и смотрел на закрытые створки. За ними, в трюме, ровно гудел компрессор. Ящики лежали. Контейнер стоял.

Раньше я такого различия не замечал.

Захваты нам отдали в час ночи по корабельным.

В рубке горел дежурный свет, красный, и от него панели выглядели плоскими. Я сидел за навигационным пультом. За остеклением уходила вниз оранжевая грязь Тупика: ряды натриевых ламп, дым от дальнего склада, чей-то буксир с погашенным бортом.

Эфир был полон. Диспетчер вёл очередь на отход, третий день одну и ту же, кто-то на общем канале ругался на пошлину за швартовку, кому-то отказывали в стоянке, кто-то просил передать на Спицу, что он жив.

— Захваты, — сказала Аглая.

Первый отошёл с длинным лязгом, который прошёл по всему корпусу от кормы к носу и сел где-то под палубой. Я развёл упоры, дал малое на маневровые и придержал левой рукой тумблер балансира, потому что новый компенсатор при отходе показывает себя первым. На пульте один за другим погасли три зелёных прямоугольника. Второй, третий. Корпус качнуло — мягко, как качает пустой ящик, когда с него сняли груз.

Маршрут я взял по приборам, как положено, и одновременно услышал его сам. Гул Паутины идёт ниже слуха, зубами, и в нём развязка на выходе из Тупика читается провалом: рельса

там уходит вправо и вниз. Пульт отдаст эту развязку через восемь секунд. Я её уже слышал: гул просел раньше, чем поменялась цифра.

Если идти по пульту, мы возьмём поворот с запозданием на полкорпуса — не страшно, но с рысканием, которое капитан чувствует спиной. Я подвёл упреждение по рельсе заранее, мелкими шагами, по два деления, чтобы всё выглядело обычной правкой с панели, и никто, кроме Аглаи, не понял бы разницы.

Порт нужен для того, чтобы садиться на навигацию напрямую: маршрут тогда идёт тебе в голову, а не в глаза, и руки успевают раньше, чем экран. Лицензионный ставят в Гильдии, в чистой операционной и под расписку. За такой слух без лицензии Гильдия либо забирает к себе, либо вычёркивает, и оба варианта означают одно: Молчуна я больше не увижу. Аглая понимает. Аглая молчит про это шестой год.

Слева счётчик менял цифры: аванс уходил на счёт верфи в реальном времени.

Сто двенадцать. Восемьдесят два.

Аглая положила ладонь на кожух, туда, где обшивка тёплая от привода. Счётчик добрал остаток и замер на сорока двух тысячах. Это всё, что оставалось от долга, и всё, что оставалось у нас от денег.

Она смотрела на цифру тем же лицом, что днём под лесами. Пальцы на кожухе лежали свободно и ровно, как на чужом плече, и ладонь она убрала не сразу.

— Точка-12, Точка-12, ответьте Молчуну. — Рина шла по рабочим частотам сверху вниз, ровно, без надежды. — Молчун, вышли из Тупика, будем у вас на четвёртые сутки, груз на ваш адрес.

Тишина. И в тишине, на нижней аварийной, ровный короткий тон: маяк. Он повторялся каждые полминуты, автоматический, штатный.

— Маяк работает, — сказала Рина. — Молчание бывает трёх видов. Обиделся, умер, притворяется. Он не умер, он даже маяком мигает.

Она полезла в архив диспетчерской и подняла хронику по сектору.

— Аглая. Он не звал. Он просто перестал. — Она листала архив вниз большим пальцем, дважды промахнулась по строке и вернулась; наушник висел у неё на одном ухе. — Сигнала бедствия они не подавали. Пусто. Ни аварии, ни отказа, ни мэйдэя, ни запроса на эвакуацию. Последний обмен — обычный: подтвердили расписание, попросили сводку по узлу. Восемь дней назад, в четырнадцать десять. Середина рабочего дня. И всё. Эфир схлопнулся разом.

Я развернулся вместе с креслом.

— Восемь дней, — сказал я. — И весь Тупик про это знает. Марика не спросила, что там. Не спросила, кто нас примет. Не спросила, что нам делать, если не встретят. Она заплатила втрое и половину вперёд, наличными, чтобы мы вышли сегодня.

Аглая не обернулась. Она смотрела в остекление, где Тупик уже стал пятном.

— Мы не герои, — сказала она. — Мы груз. Вези и молчи.

Стапель отдал последний захват. Молчун пошёл вверх и вправо, и оранжевое ушло из остекления совсем.

Тарас с доком спустились вниз, Рина зевнула и пошла спать, Аглая задержалась дольше всех, и на её плече в дежурном свете мелькнула нашивка: релейный курьер Гильдии, старый выпуск, выцветшая до серого. Она её не снимает. Я как-то спросил зачем.

Она тогда тоже не ответила.

Первую вахту я стоял один. Корабль остывал, обшивка щёлкала, привод под палубой держал свою ноту, и в эфире шли чужие переговоры, которые больше не имели ко мне отношения: где-то принимали борт, где-то торговались за место у причала, где-то капитан всё ещё ругался на пошлину.

От трапа тянуло холодом. Слабо, ровно, снизу: под палубой компрессор держал в трюме ноль, и этот ноль просачивался в коридор.

Я подтянул кресло ближе и положил ладони на панель, справа и слева от курсора, и сидел так, глядя, как в остеклении не меняется ничего.

Холод шёл понизу, по щиколоткам, и я подобрал ноги на перекладину кресла. В эфире чужой капитан договорил про свою пошлину, и канал опустел.

Такие деньги платят не за груз. Такие деньги платят за то, чтобы ты не спрашивал.

А внизу, в холодном трюме, стоял ящик, к которому нам запретили подходить.

Глава 2. Голос из трюма

— Она слева заходит, вот что обидно. Я банку под правую руку ставил, под свет, а она слева, по кабелю, и обратно тем же кабелем. Учится, зараза, на моих ошибках, а я на своих третий месяц одну проволочку гну.

Тарас говорил это кому-то до меня. Рина услышала мой скрип по палубе раньше, чем увидела меня, и уткнулась лбом в ладони; локти со стола она при этом убрала демонстративно, миллиметра на два, пока я протискивался между её табуретом и кипятильником. Камбуз у нас коробка. Плечом я снял с трубы под потолком чей-то носок, который сохнет там второй рейс, и повесил обратно; коленом нашёл ножку привинченного стола ровно там, где её находят все; сетка с посудой над мойкой звякнула, потому что я задел мойку бедром. Стол на четверых, садятся за него впятером. Вторые сутки как вышли, и на переборке висит расписание вахт с половиной смен, зачёркнутых и переписанных поверх.

Я взял кружку с полки и сел спиной к переборке, у самого угла. Раньше я садился с краю: оттуда встаёшь первым, не выковыриваясь из-за общего стола и не толкаясь плечом с Тарасом, у которого плечо шире прохода. Сегодня мне нужно было, чтобы за спиной было железо, а не люди.

— Приманка какая? — спросила Рина, не открывая толком глаз. На щеке у неё лежал рубец от наволочки, косой и жёсткий: наволочки у нас из того же полотна, что мешки под ветошь. Она потёрла щёку ладонью, потом ещё раз, решив, видимо, что это грязь. — Опять галету крошишь? Она галеты не ест. Никто наши галеты не ест.

— Теперь у меня система. — Тарас поднял палец, испачканный чем-то, что раньше было маслом. — Банка, проволочка, кусок горелой изоляции. Три раза заходила и три раза вышла, а банка щёлкнула вхолостую. Конструкция рабочая, претензии к личному составу.

Он третий месяц ловит в вентиляции шелкуна, мелкую трамповую тварь, которая скребёт в коробе и жрёт изоляцию. Завёл на неё учёт попыток, дал ей имя Гвоздь и вписал в судовую роль вторым механиком: работает больше всех и не пьёт.

Я налил себе кипятка и промахнулся мимо кружки.

Не сильно. На палец. Рука пошла к ручке правильно, я её туда послал, но с опозданием: между тем, что я решил, и тем, что сделало запястье, кто-то вставил полтакта. Дрожь я знаю, она была у меня после трёх суток на разгрузке в шестнадцать лет. Тут тело успевало, просто чуть позже, чем я. Я вытер лужицу рукавом, пока никто не смотрел.

Смотрели все. Так на маленьком корабле устроено.

— Ставлю долю за рейс, что возьму её до Точки-12, — сказал Тарас. — Дан, ты со мной или против?

— Против. Ты за три месяца два раза чинил короб и один раз чинил себя.

Док Вей сидел в торце, где обычно, и курил, стряхивая в крышку от банки. С отхода он сказал слов десять, из них половину — подвинься.

Рина протёрла глаза костяшками, вытащила из хвоста заколку-антенку и стала гнуть её туда-сюда, как курок.

— Так. Когда мы дойдём до нормального узла, где люди и вода. — Она достала из кармана штекер наушника, погнутый, и стала выправлять его о край стола. — Первое: покупаю шнур на наушник, этот я третий раз паяю. — Ноготь пошёл по облупившейся краске на кромке столешницы и отковырнул чешуйку. — Второе: ем что-то, что не восстанавливали из порошка. Третье: захожу в общественный душ, плачу за двадцать минут и стою там девятнадцать, потому что одну минуту буду тратить на то, чтобы поверить.

— Прошлый раз душ был вторым, — сказал Тарас.

— В прошлый раз я дура была. Дан, а тебе сколько до Точки-12 по твоим ощу...

— Полтора суток с небольшим, — сказал я. — Если развязку возьмём вечером. Она замолчала и посмотрела на меня уже другими глазами, проснувшимися.

— Второй раз за завтрак.

— Что второй раз?

— Ты отвечаешь раньше, чем я договариваю. — Она замерла с кружкой у самого рта, так и не отпив. — Эй. Я ещё зубы не почистила, чтобы ты мои мысли вслух повторял. Там в основном ругательства и списки.

— У тебя всего два вопроса, — сказал я. — Сколько ещё лететь и когда душ. Я заранее готовлю ответы, экономлю время экипажа.

Вышло громко. На полтона выше, чем нужно для такой шутки, так что Тарас хохотнул, а док поднял голову. Тише. Прикуси язык.

Он не спросил ничего. Взял свою кружку, полную и горячую, к которой не притрагивался, поставил передо мной и перелез на место напротив; в нашем камбузе это делается боком, и, садясь, он упёрся коленями в мои колени под узким столом и убирать их не стал. Сигарету смял в пальцах и бросил в жестянку с водой, где она коротко зашипела.

Я обхватил его кружку двумя руками. Так надёжнее.

— Ладно, — сказал Тарас в стол. — Про трюм. Расход. — Он выскреб ложкой дно тарелки, до звона. — Вторые сутки снимаю с трюмного контура цифру, и она не сходится. Пустой холод жрёт мало: раз в час компрессор дал и сел, отдыхает. — Гайка на кожаном шнурке пошла у него между пальцами, туда и обратно. — Наш не садится. Вторые сутки поёт на одной ноте, как будто мы возим мороженое на весь сектор.

— Течь по контуру?

— Была бы течь — упало бы давление, я бы уже орал. — Он потёр рассечённую бровь. — Давление хорошее. Расход лишний. Мне надо туда сходить и посмотреть глазами.

— Тебе туда нельзя, — сказала Рина.

— Мне туда нельзя, — согласился Тарас. — А когда контейнер на разгоне поедет по палубе и снесёт переборку, спросят с кого? С заказчицы?

Динамик над дверным вырезом щёлкнул, переборка стукнула следом, как всегда при перепаде, и в камбуз вошла Аглая голосом. В трансляции она никогда его не повышает. Тарас застыл с ложкой на полпути, Рина сняла ноготь с краски, док перестал жевать.

— Экипажу. Развязка на Гребёнке в девятнадцать сорок. Всем по местам в девятнадцать. Навигатор в рубку за час.

Пауза. Ровно такая, чтобы все успели подумать, что это всё.

— В трюм никто не идёт. Режим консервации до Точки-12. Расход по трюмному контуру списать на компрессор, отметить в журнале, вопрос закрыт.

Динамик оборвался и умер.

Тарас выдохнул через нос и взял ложку. Он проглотил всё, что собирался сказать, вместе с остывшей кашей, и я видел, как оно у него встало поперёк.

— Отметить в журнале, — сказал он в тарелку. — Ну, отмечу.

Рина ушла отсыпаться, Тарас пошёл наверх, док остался сидеть с пустым местом перед собой, потому что кружка его была у меня. Я допил его чай до дна. Он ни разу не спросил, как я себя чувствую.

Меня добивало именно это: всё шло как всегда. Байка, пари, список Риной, носок на трубе. Обычное утро на своём корабле, где я знаю каждую заклёпку. Только голоса доходили до меня с задержкой, будто через переборку в две ладони, а собственная ладонь лежала на столешнице чужой вещью, которую сюда положили и забыли забрать.

*

У меня каюта — шкаф с койкой. Ящик под ней, лампа на струбине, которая скрипит на повороте так, что за переборкой слышно, и карта края на стене: шесть лет я вожу по ней паль-

цем, и там, где отец в последний раз отметился в журнале, бумага засалилась до серого пятна размером с ноготь. Четыре часа сна перед развязкой — техника безопасности: разобранный навигатор слышит вместо маршрута собственный страх.

Я лёг, погасил лампу и закрыл глаза.

Корабль навалился гулом на перепонки, весь сразу, всеми переборками разом.

Приводы под палубой держали свою ноту. Насос набирал и стравливал, с сипом на второй половине хода. Двумя палубами выше кто-то прошёл по коридору, и я по шагу узнал Тараса: он ставит ногу с пятки и волочит правую. За переборкой храпел док — два такта храп, пауза, три такта. По этому храпу у нас узнают, кто спит. Док спит сидя, спиной к переборке, хотя по любому уставу сидя спать нельзя; это его собственное правило, привезённое оттуда, где лежащих будили не всегда, и он его не нарушает даже у нас.

Обычно всё это колыбельная. Я вырос под такое.

Сегодня я слышал слишком подробно, будто с корабля сняли обшивку и оставили меня внутри работающей машины. И под всем этим, ниже привода, ниже насоса, шла ровная нота, которая не принадлежала ни одной железке на борту.

Я знал звук каждого узла. Этот был лишний.

Я перевернулся на другой бок. Нота осталась. Заткнул уши ладонями, плотно, до глухого гула в голове.

Звук шёл изнутри черепа.

Она приходила через подушку в затылок, в кость, туда, где сидит порт: самодельный, из выпотрошенного медконтроллера и катушек списанного маяка, с холодной пайкой на второй катушке, которую я третий год собираюсь переделать. Порт ловит всё подряд, это его известная болезнь: сварочные посты в доке, чужой передатчик за переборкой, наводку с силовой шины. Я сел и сказал себе вслух:

— Пайка.

Слово в темноте прозвучало жалко.

Я всё равно встал.

Кормовая шахта начинается за жилой палубой: лаз в два роста, по стенам кабельные косы под хомутами, внизу площадка с решётчатым настилом. Под настилом верх третьего трюма. Дежурный свет там лампа через три, и светит снизу, так что тени идут вверх по косам.

В трюм нельзя. Я и не собирался в трюм. Я шёл над трюмом, а это, если считать честно, другое место.

Чем ниже, тем яснее. Нота набрала объём и распалась: то, что сверху казалось ровным гудением, гудением не было.

Это был такт.

Сильная доля и слабая, с одинаковым промежутком между ними: так падает тяжёлая капля масла в пустой картер, так у большого животного бьётся сердце, если приложить ухо к боку. Машина стучит от того, что у неё крутится вал, и в её стуке всегда слышно, как ей тяжело. Тут тяжести не было. Тут кто-то держал размер.

И я его знал.

Этот размер шёл снаружи, за бортом, с самого отхода. Так поёт маршрут. Паутина не молчит для того, кто её слышит: у каждого перегона свой ход, у развязки провал, у узла толчея. Я иду по этому звуку с четырнадцати лет.

Груз внизу держал такт маршрута. Один в один. Как будто там, под настилом, стоял ещё один навигатор и вёл в ту же сторону.

Я присел и положил ладонь на решётку, плашмя, всей рукой, чтобы проверить, идёт это по железу или мне кажется. Настил был тёплый снизу и пыльный сверху, металлическая пыль сразу налипла на влажную ладонь, и пахло от прутьев перегретым железом и старой смазкой.

Настил ответил.

Он не ударил. Удар я бы понял, удар был вчера ночью, от него до сих пор ломит от затылка вниз по шее. Железо отдало мне в ладонь тот же такт, и рука приняла его с тем самым опозданием, что было утром с кружкой.

А дальше меня свело.

Пальцы прижало к решётке, каждый отдельно, каждый в свой прут, и разжать их не выходило. Сводило не кисть: сводило от локтя вверх, через плечо, в шею, в челюсть. По нервам пустили чужой ток, мелкий и частый, выше всего, что человек умеет чувствовать, и шёл он не в меня, а сквозь меня, снизу от настила и дальше через темя наружу, вперёд по курсу. Я был куском провода, к которому с двух концов подключились, не спросив.

Язык онемел, как от контактов батарейки, и зубы заныли все разом, от резонанса.

Я пришёл в себя сидя, привалившись плечом к косе, с рукой, ещё лежащей на решётке. Как садился, я не помнил. Лампа была та же, тени те же, и только в ушах стоял тонкий чистый звон, как после удара по трубе.

Снизу лязгнуло железо.

Я встал раньше, чем сообразил, зачем встаю. Успел как раз: по лазу спускался Тарас, с фонарём на лбу, с щупом в зубах и мотком провода на локте.

— Ты чего тут?

Фонарь мазнул мне по глазам, и я зажмурился до цветных пятен. Тарас этого не заметил, перебрал ногами последние скобы, задел меня плечом в проходе и гулко спрыгнул на настил.

— Пайку слушаю, — сказал я и постучал костяшкой по затылку, где порт. — Наводит. Думал, от косы наводит, полез искать.

— От косы и наводит, тут силовая. — Он сдвинул фонарь на висок, чтобы не бить мне в лицо. — Только ты, если полез, свет бери. Я тебя тут ногой найду и потом Аглае объясняй.

Почему я сижу под палубой в свой сон, он не спросил. Тарас считает, что у каждого должно быть место, куда тот уходит.

— А ты? Тебе же в трюм нельзя.

— Это над трюмом. — Он сдвинул крышку кабельного короба и завёл щуп в косу, отыскивая жилу. — Я тут кабель нюхаю, формально я чист.

— Аглая оценит.

— Аглая скажет одно слово, и я уйду. — Он свистнул сквозь зубы, прижал зажим. — Но цифру до этого сниму.

Цифра шла долго. Он смотрел в щуп, потом в потолок, потом стёр показания и снял заново.

— Ну? — сказал я.

— Плохо.

— Течь?

— Хуже. — Он сел на пятки. — Там нет никакой работы. Компрессор молотит вхолостую: гоняет по контуру и не забирает тепла, потому что забирать нечего. Холод в трюме держится сам, без него. Машине велено дать ноль, а ноль там и так стоит, и она этого не понимает и продолжает.

Он сказал это голосом человека, который читает манометр. Никаких историй, никакой мистики. Техник назвал вслух, что видит.

От этого стало хуже, чем от любой истории.

— Может, изоляция, — сказал я. — Настыло за сутки и держится.

— При таком корпусе? Мы железная банка в холодном ничём, у нас тепло уходит быстрее, чем сопلي на морозе. Оно должно ползти вверх. Оно не ползёт.

Он смотал провод и потянулся к скобе.

— Спишу на компрессор, как велено. Дан, ты бы поспал, у тебя вид, как у поршневой без масла. Тебе вечером маршрут вести.

Фонарь ушёл наверх вместе с ним. Я остался у решётки, под которой ровно, в такт маршруту, пела чужая коробка.

Сказать было некому. Аглая ответит: у тебя пайка, иди спать, и будет права по всем корабельным законам. Рина полезет проверять аппаратурой и не найдёт ничего: аппаратура ловит сигнал, а сигнала тут нет. Док промолчит, посмотрит на меня и ничего не запишет. Вот это было хуже всего.

Я поднялся по лазу и никому ничего не сказал.

Первый раз в жизни я держал при себе то, что слышу.

*

В рубку я пришёл за час, как велено.

Ходовой свет низкий, приборный, снизу вверх: лица получают чужие. За остеклением шёл маршрут, ровное текучее ничто, у которого есть направление. Аглая уже сидела в капитанском и проверяла крепление ремней: брала лямку у пряжки и дёргала коротко, зло, как дёргают то, что обязано держать. Нашивка релейного курьера на её плече в этом свете почти не читалась.

— Садись, — сказала она.

Сел, откинул волосы, взял разъём. Металл на затылке холодный всегда, сколько его ни грей в кулаке; штырь пошёл в гнездо туго, пока фиксатор не сел, и по кости черепа поднялся низкий гул, пульт брал синхронизацию. Полсекунды глухоты, будто голову опустили в воду. Потом мир расширился в ту сторону, где у обычного человека ничего нет.

В эфире былолюдно. Диспетчер Гребёнки гонял очередь: борта, номера, окна, встань на третьей, жди, не занимай коридор. Рудовоз просил пропустить его вперёд из-за перегруза, и диспетчер сухо объяснял, куда он может со своим расписанием. Чей-то капитан торговался за место голосом человека, который торгуется всю жизнь и получает от этого удовольствие. Далеко, на границе слышимости, женский голос читал сводку по узлу скороговоркой, слитно, как считалку.

— Рина, эфир.

— Слышу. Двадцать минут они болтают, потом узел начнёт глушить всё подряд. Успею отработать вызовы.

— Тарас, машина.

— Машина как машина, — отозвался динамик. — Компрессор поёт. Гвоздь молчит, банка пустая.

— Док, ты где.

— Тут, — сказал док.

Больше он за вахту ничего не сказал.

Развязка на Гребёнке — место, где маршрут расходится на три, и попадание считается заранее: внутри править поздно. Прибор даёт её по гулу: гул проседает, цифра меняется, навигатор ведёт упреждение мелкими шагами. Даже когда я слышу раньше прибора, я всё равно жду цифру и подвожу по два деления, чтобы со стороны это выглядело работой с панели.

Вчера я услышал развязку на два деления раньше цифры.

Сегодня я услышал её сразу, как сел.

До неё было пятьдесят минут хода, и она стояла у меня в голове целиком, со всеми тремя рукавами. Провал в гуле, разбор потока, левый рукав тяжелее, средний наш, правый уходит к Спице. Руки лежали на панели и не делали ничего: начни я править сейчас, любой, кто читает наши отметки, увидит, что навигатор Молчуна знал развязку за час.

А потом я услышал ещё кое-что.

Слева от нашего рукава, чуть в стороне от размеченного хода, в маршруте была дверь.

Чужой след: дыра, прошитая насквозь кораблём, который прошёл здесь и прыгнул, ещё тёплая. Я слышал о таких всю жизнь и ни разу не встречал близко, а эта висела в двадцати

минутах хода, и по краю у неё шло подрагивание, которое остаётся, пока край не зарос. Кто-то ушёл отсюда сегодня.

И она подходила.

Тут-то и начиналось самое поганое. Я слышал и то, что она есть, и то, что через неё развязка проходится вдвое чище: заходишь слева, выпадаешь за разбором потока, никакой очереди, минус сорок минут и минус любые вопросы. Мне это предложили, как предлагают воду, когда ты ещё не сказал, что хочешь пить.

На панели двери не было. На панели вообще ничего не было, кроме гула, цифры и трёх рукавов.

— Восемнадцать минут, — сказала Аглая.

— Слышу, — сказал я.

Такую дверь видно тем, кто умеет смотреть, а смотрят на узлах, и в Гильдии смотрят особенно хорошо. За этот ход у Молчуна отберут всё. У меня отберут больше.

Я не взял её.

Я взял свой рукав, средний, скучный, размеченный, по которому за сутки проходит двести бортов. Подвёл упреждение мелкими шагами, по два деления, как всегда, и цифра пошла за моей рукой послушно, будто я тянул её за верёвочку.

Развязка пришла.

Гул провалился, поток разобрало, борта вокруг перестроились, диспетчер отсчитал наше окно.

И тут маршрут откликнулся на меня сам.

Я не просил. Я вёл ровно и честно, а он подхватил Молчуна и повёл, и корабль на секунду пошёл легче, чем ходит корабль с полным трюмом и старым левым трактом. Легче — это когда упреждение не нужно вовсе, впереди уже расчищено. Панель под ладонями ослабла, будто с меня сняли вес.

Секунду всё шло само, и я успел этому обрадоваться.

Потом ударил звон.

Тонкий, из кости. Цифра на пульте расслоилась надвое, рукава поплыли один в другой, и читать стало нечего. Пальцы судорогой прижало к сенсорам, ногти побелели по краю, а разжать я их не мог, как не мог разжать их на решётке. Разожми. Разожми. Эфир ушёл, будто мне зажали уши изнутри. В горле пересохло разом, до кашля.

— ...Веко.

Аглая стояла надо мной.

Стояла рядом, у самого пульта, и это значило, что прошло время, которого у меня в голове не было. На хронометре развязка кончилась минуту назад. У меня она не кончилась вообще.

— Прошли, — сказала Аглая.

Я разлепил губы.

— Прошли.

— Рина, Тарас, свободны. Спасибо. Док, ложись уже.

Динамики отозвались по очереди. Она села обратно, боком ко мне, локтем на подлокотник.

— Дан.

Я вытащил разъём. Затылок остыл сразу.

— Я шестой год смотрю, как ты ведёшь, — сказала она. — И за шесть лет ни разу ничего тебе про это не сказала. Ни хорошего, ни плохого.

Я молчал.

— Сегодня ты вёл не как обычно.

Вопроса она не задала. Поставила эту фразу между нами и стала ждать, ровно столько, чтобы человек успел подумать. В паузу можно было положить всё. Кружку, настил, такт под палубой, дверь слева от рукава. Она бы дослушала, не перебивая.

И потом ей пришлось бы с этим что-то делать.

— Тряхнуло на разборе, — сказал я. — Пайка на порту холодная. Я её переделаю в Точке-12.

Аглая посмотрела на меня. Перевела взгляд с моего лица на затылок, где порт, и обратно, и прищурила один глаз, как щурится на приборы, когда цифра ей не нравится.

— Переделай, — сказала она. — Впереди узел. На узлах смотрят, Дан. И смотрят там люди Гильдии, у них глаза другие, чем у таможни.

Она встала и одёрнула комбинезон.

— И вот там ты у меня ведёшь по приборам. Как все. Понял?

— Понял.

— Хорошо. — Она пошла к выходу и у самой переборки добавила, не оборачиваясь: — Поешь чего-нибудь. Ты серый.

Дверь встала на место. Я сидел в приборном свете, с железом во рту, и не мог понять, чего во мне больше: страха или той секунды, когда корабль пошёл легко.

Отца в Гильдии до сих пор помнят по имени. Я сегодня первый раз сделал то, чего от меня всю жизнь ждали.

И первый раз не хотел, чтобы это увидели.

*

Связной закуток за рубкой: полтора метра на два. Я вошёл и сразу зацепил локтем распечатки, наложенные на переборке в три пальца толщиной; они прошелестели, качнулись и легли обратно. Втиснуться было некуда: стойка с панелями, табурет Рины, наушник на крючке у самого моего уха и архив, плоский ящик, на который нельзя ставить кружки. Я нашёл себе угол между стойкой и косяком и встал туда боком. Единственное место на корабле, где свет холодный: панели светят зелёным и синеватым, и лицо у Рины в нём старше.

Я зашёл со своей кружкой, за которой якобы приходил.

— Слышал, как эта с узла читает сводку? Двести знаков в минуту, ни разу не сбилась, и в конце ещё желает хорошей вахты. Я так не умею, я на четвёртой строчке начинаю сама себя перебивать.

— Ты и в жизни начинаешь.

— В жизни это стиль. — Она развернулась на табурете. — Чего пришёл?

— Маяк Точки-12.

Она полезла в дневник, толстую самодельную тетрадь, куда третий год пишет голоса: частота, время, интервал, характер. Про него на корабле не знает никто, кроме меня, и я узнал случайно.

— Вторые сутки пишу. Интервал тридцать секунд ровно, тон один и тот же, содержание — номер станции. Метроном. Стоит ящик, в ящике реле, реле щёлкает раз в полминуты и будет щёлкать, пока не кончится питание. Красиво и тупо.

— Вызови его, — сказал я.

— Вызывала. Восемь раз за сутки.

Полдня я слушал ноту под палубой и не узнал от неё ничего; она ответила мне только тогда, когда я тронул решётку сам, — не слушать надо было, а позвать, и позвать второй раз.

— Вызови два раза подряд. Одним и тем же текстом, без паузы.

— Он автомат, Дан. Он не обидится, что его дважды позвали.

— Ну и позови дважды.

Она пожала плечами, надела наушник на одно ухо, включила передачу.

— Точка-12, Точка-12, ответьте Молчуну. Груз на ваш адрес, борт в полутора сутках хода. — Пауза в полвдоха. — Точка-12, Точка-12, ответьте Молчуну. Груз на ваш адрес, борт в полутора сутках хода.

Тишина. Отсчёт на её панели шёл по кругу.

Маяк дал тон.

У Рины приоткрылся рот, и она забыла его закрыть. Моргать она тоже перестала.

— Двадцать восемь и шесть, — сказала она.

— Что?

— Интервал. Он дал следующий импульс через двадцать восемь и шесть десятых вместо тридцати. — Она уже писала, не глядя на руку. — Ждём.

Следующий пришёл через двадцать восемь и две.

— Ещё раз, — сказала она, вдавила клавишу передачи, не дожидаясь моего ответа, и заговорила ровнее и быстрее, чем обычно. — Точка-12, Точка-12, ответьте Молчуну. Точка-12, Точка-12, ответьте Молчуну.

То же самое. Маяк не поменял ни содержания, ни тона. Он сбил такт.

— Так, — сказала Рина. — Спокойно. Питание проседает, таймер плывёт. — Она подумала две секунды. — Тогда он плыл бы всегда, а не после моего вызова. Приёмник греется от передачи. У него приёмник в другом контуре, я сутки его слушала, поехал бы весь, а поехал только интервал. Эхо от корпуса — своё эхо я знаю, оно у меня на других задержках, я его вычитаю. Совпадение четыре раза подряд?

Она замолчала и стала быстро крутить заклочку-антенку в хвосте, наматывая на неё прядь и распуская обратно.

— Автоматы так не делают, — сказала она тихо. — Автомат не знает, сколько раз его позвали. Ему нечем это считать.

Я держал кружку и молчал.

Этот сбившийся такт я слушал полдня. Тот же рисунок, что у ноты из-под палубы: ровно держат размер, потом короткая доля, будто кто-то кивнул.

Она слышала машину. Я слышал сеть. Мы стояли в полутора метрах друг от друга, слушали одно и то же с разных сторон, и я не мог сказать ей об этом ни одним словом, которое она бы приняла.

Рина открыла дневник на чистой странице.

— Всё, — сказала она. — Хватит ему номера.

Она написала сверху имя.

— Заика, — прочитал я вслух.

— Он заикается, когда его торопят. — Она подчеркнула. — Дан. Не говори Аглае до утра, ладно?

— Почему?

— Потому что мне нечего показать. — Она развела руками. — Я приду к капитану и скажу: маяк дёргается на полторы десятых. Она спросит, что это значит. Я скажу: не знаю. Я хочу сначала знать.

— Не скажу, — ответил я.

Мне это ничего не стоило. Своего невысказанного у меня было больше.

Я поставил кружку, пошёл к выходу и уже в проёме понял, куда её поставил.

Рина ударила меня по руке, коротко и метко, как бьёт третий рейс подряд.

— Ты издеваешься.

— Задумался.

— Ты не задумался, ты сутки уже где-то не здесь. — Она всучила кружку мне в ладонь. — Иди спать, навигатор.

*

Ночью на жилой палубе горит один плафон из четырёх.

Я стоял у поворота к своей каюте и слушал.

Приводы держали ноту. Насос набирал и стравливал, с сипом на второй половине хода. За переборкой храпел док, два такта, пауза, три такта. В коробе над головой скребло железом: щелкун вышел на смену, банка Тараса стояла пустая, и пари Тарас проиграет.

И под всем этим шла ровная нота из-под палубы. Она держала такт, и такт совпадал с тем, что было впереди по курсу, в полутора сутках хода, где десятый день подряд мигает и молчит станция.

Отец говорил: слушай тишину, тишина тоже звучит.

Шесть лет я держал эту фразу как память о нём, красивое, что говорят сыну перед вахтой. И первый раз понял, что она про другое.

Это инструкция.

Тишину слушают так же, как звук: ждут, повторяют, проверяют. Рина позвала один раз — станция молчала. Позвала дважды — станция сбилась.

Она отозвалась только на второй зов.

Глава 3. Тишина

Наволочка была мокрая с краю.

Я потрогал её и понял, что мокро не только на наволочке. Нижняя губа, подбородок, полоса на шее до самого воротника. В темноте оно казалось чёрным. Я сел, зажал переносицу, как учили на верфи после драк, и стал считать такты вентиляционного привода за стенкой: у него на каждом третьем обороте проседает звук, и по этому провалу удобно вести счёт. Кровь остановилась на пятидесятом такте.

Пятые сутки рейса. Одни из них съел левый тракт: после разбора потока компенсатор пошёл греться, и Тарас целый день держал половину хода, пока не вылечил его хомутом и руганью. Точка-12 была уже так близко, что Рина ловила её маяк на прямой, без переспросов.

Наволочку я стянул и свернул пятном внутрь. Стирать на Молчуне негде: вода в обороте, всё, что ты сунул в бак, потом пьют пятеро, и любая тряпка сохнет на трубе у всех на виду. Я взял её под мышку, взял воротник, оттянутый и уже задубевший, и пошёл в умывальник, надеясь на то, на что надеются в четыре утра. Что все спят.

Док стоял в проходе у лазарета.

Он молчал и катал в руке погасшую сигарету, привалившись плечом к косяку, и смотрел, как я иду. Пройти мимо было можно. Я прошёл два шага и повернул к нему.

В лазарете две койки, и одна из них уже четыре года завалена ящиками с расходкой, так что лежать там негде. Шкафчик с лекарствами перетянут поперёк брезентовым ремнём, чтобы не распахивался на разгоне. Пахло спиртом, старым пластиком и табаком, которым док пропитан насквозь, до тетрадей и до подкладки. Он щёлкнул лампой на гусাকে. Лампа своё отжила и давала жёлтый свет, при котором любое лицо выглядит хуже, чем оно есть.

— Сядь. Голову не задирай. Вниз.

Я сел. Он взял меня за запястье, нашёл пульс и замолчал, глядя в стену. Отпустил. Взял снова, с другой руки, и на этот раз считал дольше.

— Что там? — спросил я.

— Считаю.

Он поднял палец и повёл им влево, потом вправо, потом к моему носу и обратно. Я следил. На третьем разе палец разъехался надвое, я моргнул, и он снова стал один.

— Ещё раз.

— Да нормально всё.

— Ещё раз.

Он развернул мне веко большим пальцем, посветил, отпустил. Взял со стола тетрадь в клеёнчатой обложке, распухшую от вложенных бумажек, открыл ближе к концу и начал писать. Я вытянул шею. Это был не судовой журнал. Судовой журнал у нас лежит в рубке и заполняется печатным шрифтом, потому что его читают чужие люди с бляхами.

— Сколько спал?

— Часа четыре.

— Сколько раз за трое суток ты терял время?

Я открыл рот, чтобы отшутиться. У меня на такие вопросы готовое припасено с детства, я этим живу.

— В смысле?

— В прямом. Стоял здесь, очнулся там. Сколько раз.

— Один. — Я подумал и добавил: — На разборе потока минуту в хронометраже потерял. Тряхнуло, я сенсоры не удержал.

Док писал. Он не спорил и не переспрашивал, и от этого врать было тяжелее, чем если бы он кричал. Он просто заносил мою ложь в тетрадь, мелким почерком без наклона, вместе с датой и временем, и складывал её туда, где она будет лежать и ждать.

— У меня в порту пайка холодная, вторую катушку давно пора пропаять заново, — сказал я. — Он ловит что попало. Наводит с приводов, я это по звону чувствую. На причале переделаю.

— Угу.

— Плюс не жру нормально пятый день.

— Угу.

Он дописал строку, поставил точку и перевёл взгляд на меня. У дока спокойные глаза, и это хуже всего.

— Что это? — спросил я.

— Не знаю.

— Так не бывает. Ты врач.

— Врач, — согласился он. Достал из кармана сигарету, покрутил, не прикурил. — Я тебе честно, один раз, и больше не буду повторять. Я это не лечу. Я это считаю. До и после. Записываю цифру, потом записываю следующую и смотрю, в какую сторону она идёт.

— И в какую она идёт?

Он не ответил. Сунул сигарету обратно в карман, что при нём случается редко.

— У меня есть с чем сравнивать, — сказал он. — Я похожее видел один раз.

— Где?

— За Кромкой.

Док закрыл тетрадь и придавил её локтем. Больше он не добавил ничего.

Кромка. Оттуда возвращается один из десяти, и тот молчит.

Шесть лет я живу рядом с человеком, который там был, и узнаю об этом в четыре утра, между двумя строчками в тетради.

— С вахты я тебя не сниму, — сказал док. — И капитану не понесу. Пока.

— Спасибо.

— Не спеши. — Он постучал ногтем по клеёнчатой обложке, показывая, что запись уже сделана и никуда не денется. — Перед высадкой смотрю тебя ещё раз. Если цифра пойдёт туда же, на станцию ты не идёшь. Скажу капитану, что у навигатора давление, и она мне поверит, потому что ей удобно верить врачу.

Я сказал, что понял. Сказал, глядя ему в переносицу, и уже в ту секунду знал, что нарушу. Знал так же спокойно, как знаешь, за какую скобу в доке нельзя браться после полудня.

В дверях стояла Рина, босиком, с наушником на шее.

— Дан, ты в семь в рубку? Капитан всех собирает. — Она нашла глазами свёрнутую наволочку у меня под мышкой и мой воротник. — Ты чего.

— Кровь носом. Сухо тут.

— Сухо, — повторила она, не двигаясь с места. Потом надвинула наушник на ухо и ушла первой.

Док догнал меня в проходе и сунул мне в руку спиртовую салфетку в пакетике. Без единого слова.

*

К семи дежурный свет в коридорах сменился жилым, и корабль сделал вид, что настало утро.

В рубке на подходе к краю полутемно: половину приборов гасят, чтобы не мешали смотреть в остекление, и лица подсвечены снизу одной панелью.

Аглая сидела в кресле боком, положив локоть на подлокотник. Свободной рукой она перебирала ключи на поясе, по одному, туда и обратно. Рина стояла, потому что доклад стоя у неё звучит серьёзнее, и она это знает.

— Я не шла к вам раньше, потому что показывать было нечего, — сказала Рина. — Теперь есть. Четыре опыта за трое суток, всё на ленте, всё по времени сходится. Четвёртый день он держит ровно тридцать. Тридцать, тридцать, тридцать, там как по линейке. Вызываю один раз — тридцать. Вызываю два раза подряд, одним текстом, без паузы, — интервал садится почти на полторы секунды. Следующий короче ещё на четыре десятых. Повторяю опыт через час — то же самое, в тех же десятых.

— Что ты из этого делаешь? — спросила Аглая.

Ключи в её руке остановились.

— Питание я проверила, приёмник свой проверила, эхо от корпуса я вычитаю всегда. Автомат не считает, сколько раз его позвали. Ему нечем.

Аглая не перебила ни разу. Дослушала до конца и задала один вопрос:

— Что это меняет для швартовки?

Рина открыла рот и закрыла.

— Ничего, — сказала она. — Пока ничего.

— Тогда дальше.

Рина положила на панель свою тетрадь и раскрыла её ладонью.

— У меня тут записаны шесть пограничных станций. Шапка, Ольхо, Двадцать Восьмой, ещё три. Все на краю, все нищие, все с одним реактором. Знаете, что у них общего? У них у всех грязь. Насосы наводят на бытовой канал, у кого-то греется датчик, и он раз в полчаса пукает в эфир, у кого-то смена трепется на аварийной, потому что им скучно, и диспетчер ругается. Живая железка всегда обрастает мусором. Всегда, это физика, ей деваться некуда.

— А Точка-12?

— А у Точки-12 ничего. — Рина побарабанила ногтем по тетради. — Ни наводок, ни фона по реакторному контуру, ни одного случайного щелчка. Только маяк. Как будто вокруг него всё вымели и вытерли насухо.

Она подняла голову.

— Сигнал чище неба, капитан. Настолько чистый, что я ему не верю. Чистый сигнал — это либо кот в ящике, либо подстава.

Аглая отвинтила крышку фляги на поясе и завинтила обратно, не отпив. Маршрут на подходе к концу истончается, гул в нём садится, и это видно даже приборами. Я слушал его вполуха. Под гулом шла вторая нота, ниже основной, и я списал её на порт: холодная пайка ловит что попало, особенно когда рядом чужая антенна.

— Рина. Марика.

— Третий день одно и то же. Канал заказчицы приём подтверждает, значит, аппаратура жива и адрес правильный. Ответа нет.

Аглая молчала. Я досчитал до двенадцати по щелчкам записи, Рина за это время дважды переступила с ноги на ногу и так и не села, хотя место было.

— Тринадцатый день Точка-12 молчит, — сказала Аглая наконец. — Срок у нас был четвертые сутки, идём пятые. По договору с меня штраф, и она про него не вспомнила.

— Может, у неё передатчик сел.

— Может. — Аглая повернула кресло. — Только человек, который платит тройную цену вперёд, вспоминает про свои деньги через двенадцать часов. Ей всё равно, когда груз приедет.

Она сказала это тем голосом, каким читают опись. Тарас в динамике снизу что-то уронил и выругался.

— Тарас, слышишь меня?

— Слышу.

— Малый ход через двадцать минут. Подходим по дуге, снизу, с недалётом. Как будто мы мимо.

— Мимо? — Динамик хрюкнул. — Аглая, у нас четыреста тонн железа и левый тракт с покойника. Мы никого не обманем. Нас за версту видно, что мы возчик с полным трюмом.

— Делай.

Руки я держал на коленях. На узлах ведёшь по приборам, как все, сказала она мне на Гребёнке, и это был приказ, а не просьба. Аглая обернулась один раз, проверила, где мои руки, и отвернулась. Так к пограничным станциям не подходят грузовозы. Так подходят к точке, где тебя может ждать кто-то, кого ты не хочешь встречать: снизу, с малой тягой, с курсом, который до последнего можно объявить проходным. Нашивка у неё на плече выпцвела до серого, но её всё равно видно: релейный курьер Гильдии, старый выпуск. Спрашивал я один раз, на второй год.

— Рина. С этой минуты и до отхода пишешь весь эфир.

— Весь?

— Весь. Не выбирая. Даже если это будет пустая лента.

— Есть пустая лента, — сказала Рина.

Тумблер записи она щёлкнула с первого раза. И сразу начала выправлять о край стола штекер наушника, хотя штекер был прямой.

*

К полудню тяга упала, и корабль стало слышно иначе: пропала низкая дрожь в палубе, которая идёт от маршевых, и из-под неё вылезло всё остальное. Капало из-под уплотнения в душевой, раз в семь-восемь секунд. Скрипела петля на пустой койке.

Обедать сели в кубрике, вчетвером. Койка Аглаи стояла заправленная по-военному, одеяло в один слой, угол в угол, и место у откидного столика рядом с ней никто не занял, хотя там удобнее всего. На стенке у входа висело расписание вахт, перечёркнутое и переписанное трижды за рейс. На полке третий месяц стояла чужая кружка, и никто уже не помнил чья.

— По раскладке нам на четверо суток, — объявил Тарас, выставляя банки. — Идём пятый день. Кто-то ел за двоих.

В коробе над столиком скребнуло железом. Все подняли головы, послушали и вернулись к банкам.

— Гвоздь, — сказала Рина.

— Вот и я думаю. — Тарас распределил банки, себе взял ту, что помятая. — Он у меня по судовой роли второй механик. Пашет больше всех и не пьёт. А жрёт, оказывается, за старшего.

— Ты его поймал?

— Я его почти поймал.

— Почти, — сказала Рина. — Ты на прошлой неделе ставил долю за рейс, что возьмёшь его до Точки-12. Мы у Точки-12.

Тарас поднял ложку, подержал и опустил.

— Проиграл, — признал он. — Честно проиграл, банка щёлкнула вхолостую в третий раз. — Он обвёл нас ложкой. — Ставлю новое: возьму его до того, как мы отсюда отойдём. Условия те же.

— Не ставь, — сказал я.

— Ставлю.

— Он же теперь знает, как твоя банка устроена. Он у тебя на ней учится.

— Он на моих ошибках растёт, — согласился Тарас с удовольствием. — Хороший работник. Плохой квартирант.

Рина выскребала свою банку по кругу, чтобы растянуть.

— Так, я решила, — сказала она. — Первое, что я делаю на месте. Иду и прошусь к ним в душ. У пограничных вода дармовая, они её изо льда гонят, у них её девать некуда. Двадцать минут. Из них одна уйдёт на то, чтобы поверить, что можно не выключать.

Тарас загоготал так, что его банка поехала по столику, а док фыркнул в кулак и закашлялся.

— На мёртвой станции, — сказал Тарас, — тебе никто воды не даст.

Он сказал это без нажима, ложкой в банку, и смех кончился сам собой.

— И причал будет холодный. Никто ж его не греет тринадцать дней. — Тарас поскрёб щетину. — К холодному железу вставать плохо. Прижимаемся мы к нему бортом, у них там на кольцо уплотнение, у нас на кольцо уплотнение, и оба задубели. Одно перекосит, второе не сядет, и ты полдня уговариваешь стык, вместо того чтобы разгрузаться.

— Ты вставал так?

— Я так три раза вставал. Один раз хорошо кончилось.

Дальше я их не слышал.

Звук пришёл через кость. Низкая нота, ровная, с весом: она стояла в груди, под самой ложечкой, и от неё ныли корни нижних зубов и мелкие косточки в запястьях. Дышать под ней получалось короче, будто поперёк рёбер затянули ремень на одну дырку туже. Гул маршрута, который я слушаю с четырнадцати лет, приходит со всех сторон сразу, как вода вокруг руки. У этой ноты был один угол. Она шла спереди и чуть снизу, из точки в трёх с половиной часах хода, и она тянула.

Я обнаружил, что развернулся корпусом к борту. Всем телом, вместе с плечами и коленями, как разворачиваются на кухне, когда с другой стороны понесли горячее.

И понял, что мне туда хочется.

Хочется, как хочется сесть, когда двое суток на ногах. Там, впереди, было место, где всё это кончится и станет правильно, и никакая часть меня не спрашивала, откуда я это знаю.

А дальше по краю, за этим местом, стояла последняя отметка отца.

Карту края я знаю наизусть, потому что шесть лет разглядываю её на стене у койки, и бумага на последней отметке засалена до серого пятна. От Точки-12 до этого пятна двое суток хода по рельсам. Меньше, если не по ним. Шесть лет я держал это расстояние в голове как цифру, и вот оттуда шла нота, и тянула ровно в ту сторону.

Аглае об этом сказать нельзя. Она услышит мальчишку, который шесть лет ищет повод пойти за отцом, снимет меня с высадки на месте и будет права.

За столом Тарас рассказывал, как в позапрошлом году на Двадцать Восьмом у них примёрзла аппарель.

Ладонь легла мне на плечо и сжала. От неё пахло табаком.

— Дан, — сказал док.

Одно слово. Я моргнул и увидел, что держу ложку над пустой банкой, что банка пустая давно и что Рина смотрит на меня поверх своей.

— Меню сочинял, — сказал я. — У них там наверняка столовая. С котлетами. Я уже выбирал.

— Плохо, — сказала Рина. — Даже для тебя плохо. Ты второй день где-то не здесь, и шутки у тебя оттуда же.

Тарас хлопнул по столику.

— Швартовка. Я на лебёдке, Дан на рукаве. Усы вяжу сам, к ним никого не подпускаю.

Он собрал крошки со столика в ладонь и сыпал их в банку.

— И ещё. В машинном на трубе сохнет бельё. До малого хода снять.

— Вешала не я, — сказала Рина.

— А кто?

— Не я. Я своё в кубрике сушу, как человек.

— Носки чьи?

— Носки Дана. Он их по всему кораблю раскидывает.

— Мои серые, — сказал я. — А там висит что-то в полоску.

— В полоску мои, — сказал док.

Все замолчали. Док собрал ложку в банку, встал и пошёл в машинное сам, никого не спрашивая, а Тарас крикнул ему в спину, что на манёвре это бельё полетит носками в лицо тому, кто работает, а работает тут он, Тарас, а не полосатые носки.

Вышел я последним.

В проходе я вытер нос тыльной стороной ладони, глянул на неё и только тогда сообразил, что вытирал заранее. Крови не было. Я уже начал её ждать.

*

Швартовочная палуба у нас низкая, и между стойками со скафандрами и бортом остаётся проход в две ладони, поэтому Тарас ходит там боком и пригнувшись сразу. Скафандров на стойках четыре: три рабочих и один, списанный ещё до меня и не снятый, потому что руки не дошли. Я зову его Покойник. Тарас каждый раз злится и говорит, что это примета.

На палубе жёлтой краской размечен квадрат, где положено стоять при сбросе давления. Рядом ручной насос, к нему привинчена медная табличка с инструкцией, и от инструкции за сорок лет остались три слова: «медленно», «до упора», «доложить».

Точка-12 висела в блистере сбоку от шлюза, и я в неё смотрел, пока никто не гонял.

Она была красивая.

В Тупике я вырос, а там всё либо ржавое, либо горит, либо и то и другое, и ничего опрятнее я не видел. Кольцо жилого пояса, две мачты, четыре причальные фермы, сложенные в походное положение, все четыре в одном углу, как складывают руки. Ходовые огни на мачтах погашены. По регламенту их гасят сверху вниз, и погашено было по регламенту, а причальные оставлены гореть, потому что причальные гасить нельзя: к тебе может прийти гость.

Кто-то выключил свет и ушёл. И свет для гостей оставил.

— Причал третий, — сказала Рина.

Она сидела на ящике с переносной панелью на коленях, наушник на одном ухе.

— Повтори, — сказала Аглая.

— Я вызвала по всем рабочим. По служебной. По аварийной ручной, той, где надо ключом. — Рина подняла на нас лицо. — Мне ответили. Автоматом. Разрешение на швартовку выдано, борт опознан, причал третий, кольцо под давлением, шлюз в готовности. Всё по форме, всё по регламенту Гильдии. Голоса нет. Приветствия нет. Даже строчки «встречающий такой-то» нет, а она в форме есть, там для неё поле.

— Кто-то нажал кнопку?

— Никто не нажимал. Это диспетчерский автомат, он выдаёт разрешение сам, если причал свободен и борт в списке ожидаемых. — Рина сняла наушник совсем и положила его на панель, чего за весь рейс не делала ни разу. — Капитан, мы у них в списке ожидаемых. А в список борт вносит человек, руками, с пульта диспетчерской. Автомат себе гостей не назначает. Люди у них молчат тринадцатый день. Значит, нас вписали до того, как они замолчали. Позже было некому.

Ждут. Тринадцать дней ждут.

— Мы вышли из Тупика пять дней назад, — сказала Аглая.

— Знаю.

— Марику мне сдал мастер в тот же день, к обеду. Кто внёс нас в чужой список за восемь дней до того, как нас наняли?

Рина открыла рот и закрыла. Ответа у неё не было, и она первый раз за рейс не стала его выдумывать.

Тарас в это время воевал со стойкой. У третьего шлема третий год подклинивает стопорное кольцо, и он его не крутит, он его уговаривает: бьёт ладонью в одно и то же место у затыльника, снизу вверх, три раза. Место отполировано этими ударами до блеска, как ручка двери в конторе.

Кольцо щёлкнуло и село.

— Уговорил, — сказал Тарас в тишину. И сразу, без перехода: — Аглая, я против.

— Говори.

— Мы возчики. — Он поставил шлем на стойку. — Там у них машина крутит вал при выключенном моторе, вот что там. Значит, либо весь экипаж лежит в одном месте, и тогда это дело Гильдии, а не наше, и лезть я туда не буду. Либо в кольце пусто, и тогда бумагу подписывать некому. Хоть так, хоть эдак, мы ставим ящики в пустой коридор и уходим. Мёртвому за подпись не платят, Аглая. Поговорку я сам придумал, но она от этого не глупее.

Аглая большим пальцем поддевала замок на своём шлеме и отпускала, поддевала и отпускала.

— Мы ставим ящики в пустой коридор, — повторила она. — И приходим в Тупик без остатка. Сорок две тысячи долга, Тарас. Мастер зачитал их вслух при трёх стапелях. Он не поленится зачитать второй раз, и уже с приставом.

— Я хочу знать, — сказала Рина. — Я не про деньги. Я четвёртый день слушаю железку, которая отвечает на повторы, и мне надо увидеть, кто её так научил.

— Тебя никто не спрашивал.

— Знаю, — сказала Рина. — Всё равно хочу.

Док стоял у переборки со своей тетрадью под мышкой. Аглая держала на нём взгляд дольше, чем ждут ответа. Тарас отвёл глаза первым.

На меня она не посмотрела вовсе.

— Мы не герои, — сказала она. — Мы груз. Груз надо довести до руки, которая распишется. Не до причала. До руки.

Она сняла с пояса хронометр и щёлкнула им.

Тарас первым потянулся за шлемом.

— Идём трое. Я, Тарас. Третьего мне скажет док: за борт у меня людей выпускает врач, так заведено. Рина на связи с борта, док на шлюзе с аптечкой. Два часа по хронометру. Груз выставляем в приёмный, ищем живых, берём подпись, уходим. Ничего не открывать. Ни одной двери, ни одного щитка, ни одной банки консервов. Тарас, стык.

Я успел просчитать, много ли она знает, и не досчитал ни до чего. Она не смотрела на дока, когда это говорила, и он на неё тоже.

— На усах встану, — сказал Тарас. — Не притираясь. Кинем два уса на кольцо, держимся в полуметре, ходим по рукаву. Причал холодный, я в него бортом не полезу.

— Долго?

— Быстрее, чем притираться. И отойти можно за минуту, если приспичит.

— Делай.

Док перехватил меня у стойки, за локоть.

Он молчал. Взял запястье, нашёл пульс и стал смотреть в стену, и я стоял и слушал вместе с ним, как у меня под его рукой колотится быстро и вразнобой. Он отпустил. Достал тетрадь, отчеркнул в ней что-то ногтем и писать не стал.

— Смотрю тебя не там, где собирался, — сказал он. — Здесь у меня нет ни света, ни времени, ни места, куда тебя положить. Свет мне нужен, чтобы заглянуть тебе в глаза. Я его не получил.

— Док.

— Ты понял, что я насчитал.

— Понял.

— Мы договаривались.

Отшутиться я мог. У меня было наготове три штуки, одна даже хорошая, про то, что у меня так перед каждым чужим причалом. Я держал шлем за ободок и понимал: если я сейчас пошучу, он меня снимет, и будет прав, и я останусь на борту, а она будет в трёхстах метрах, и я буду слушать её через палубу двенадцать часов.

— Док, пусти меня.

Он поднял глаза.

— Я прошу, — сказал я. — Я тебя прошу. Без навигатора туда нельзя. Пограничные лепили по одному чертежу: кольцевая планировка и четыре радиуса, все одинаковые, разметка по гильдейскому стандарту, и по ней заблудится любой, кто не ходил. У меня справочник этих схем, я его выменял в доке у сменщика за две смены и с тех пор помню наизусть. Аглая ходила по такому кольцу двадцать лет назад. Тарас не ходил вообще.

Всё это было чистой правдой, от первого слова до последнего. И всё это было ложью, потому что настоящую причину я ему не сказал.

Док досчитал что-то про себя, губы у него шевельнулись. Потом он закрыл тетрадь.

— Два часа, — сказал он. — Если потечёт носом — сразу назад. Не «дойду до угла». Сразу.

Он повернулся к Аглае, через палубу.

— Навигатор идёт.

— Принято, — сказала Аглая.

Док пошёл разбирать аптечку, и я понял, что он только что сделал то же самое, что делаю я четвёртый день: промолчал.

Рина, собирая переносную, вдруг сказала в наушник:

— Привет, дед.

— Чего? — обернулся Тарас.

— Ничего. — Она сдвинула наушник и покраснела пятнами. — Там ретранслятор на сто девятнадцатой. Он один остался. Диспетчершу с Гребёнки я потеряла в десять, рудовоз потеряла в час, а этот сидит и читает прогноз по узлам в пустоту. Ему никто не отвечает уже лет пятнадцать.

— И ты с ним здороваешься.

— Я с ним здороваюсь, — сказала Рина с вызовом. — Он хотя бы говорит.

Мы влезли в скафандры. Тарас проверил мне стык на шее и дёрнул за плечевой ремень.

— Затяни. Не затянешь — я тебе его затяну вместе с ключицей.

В шлюзе стало тесно втроём.

Насос взял на себя. Он вытягивал воздух из отсека, и его высокая нота лезла в уши и глушила всё. Я стоял у внутренней двери, шлем ещё не заперт, откинут на затылок, и слушал этот вой.

Насос дошёл до порога и отсёк.

И в тишине, которая осталась, стало слышно её.

Точка-12 не молчала. Она ответила нам разрешением на швартовку. Причал третий. Она отвечала на каждый вопрос, который ей задавали приборы, спокойно и по форме.

Она не отвечала только на голос.

А низкая нота, которая тянула меня с самого обеда, шла из-под всей этой исправности, изнутри, и у неё было направление, как у коридора. Там, куда мы сейчас пойдём, был поворот, и за поворотом ещё один, и она вела туда так же уверенно, как маршрут ведёт корабль.

На станции работало всё. Не работали только люди.

И это была единственная поломка, которую никто из нас не умел чинить.

Глава 04. Порог-12

НЕ СТОЯТЬ В ЖЁЛТОМ, КОГДА ИДЁТ ЛЕНТА. Трафарет был старый, буквы протёрлись на сгибе, и по ним кто-то от руки, шариковой ручкой, дописал: «Серёга, это про тебя». Ручку прижимали сильно, бумага под буквами продавилась.

— «Серёга, это про тебя», — прочитал Тарас вслух у меня из-за плеча и снова взялся за наружную кремальеру. — Слышь, Аглая. Тут кто-то за порядком следил.

Створка третьего причала пошла легко, без шипа и без перепада: у них стояло такое же давление, как у нас, до десятых. Тарас всё равно достал анализатор, воткнул щуп в щель и подержал двадцать секунд.

— Кислород двадцать один, — сказал он. — Углекислый в норме. Влажность у них выше нашей, они её не сушат. Аглая, тут можно дышать.

— Шлемы откинуть, перчатки оставить, — сказала Аглая. Сняла с пояса хронометр, щёлкнула им и повесила обратно. — Два часа.

Я откинул шлем на затылок и вдохнул.

Пахло чужим домом. Мылом, травяным, дешёвым, и поверх него едой: тушёное, с луком, вчерашнее. У нас на Молчуне все переборки до самого мостика пропитаны кислым духом оборотной воды, и я шесть лет думал, что так пахнет везде, где живут. Тут пахло так, как пахнет у столовой на другой день после готовки.

Две недели. Две недели никто ничего тут не готовил.

Я подумал это и тут же себе объяснил: у них замкнутый контур, фильтры гоняют один и тот же воздух по кольцу, запаху деться некуда. Объяснение было слабоватое, но оно было первым, и я его взял.

Шаг вперёд дался тяжелее, чем я рассчитал.

У них стояла своя тяга, чуть выше корабельной, и разница выходила крошечная, а нога об неё спотыкалась. Как когда несёшь пустое ведро, а оно оказывается с водой. Тарас впереди меня качнулся и поймал ладонью косяк.

— Ух ты. Сколько у них?

— По чертежу единица и ноль пять, — сказал я. — Гильдейский стандарт для пограничных.

— Пять сотых, — Тарас потоптался, привыкая. — Пять сотых, а поясницу уже чувствую. Через два часа я у вас буду дед.

Свет зажёгся сам.

Не весь, а участком: две панели впереди над нами, потом ещё две дальше, и так, ступенями, метров на пятнадцать вперёд по изгибу. Мы двинулись, и полоса поехала с нами. За спиной панели гасли одна за другой, с задержкой в несколько секунд, ровно, без мигания.

Я обернулся. Позади было темно до самого шлюза.

— Датчики движения, — сказал Тарас. Подсветил фонарём кожух панели, поискал глазами следующую и присвистнул сквозь зубы. — И ведь работают. У нас в Тупике такие ставили в конторе, они за год начинали гасить свет прямо на людях.

Станция видела нас и показывала это. Всю дорогу.

Приёмная была за поворотом: широкий отсек с рольгангом вдоль стены, платформенные весы, стеллаж с пустой тарой, стол под бумаги. Я поймал себя на том, что вытер подошвы о комингс, прежде чем войти. У нас на Молчуне я такого не делаю никогда.

Мы разговаривали тише, чем надо в пустом отсеке. Все трое.

Тарас закатил первый ящик с наших санок и остановился перед лентой.

— Аглая, можно я ей на ленту положу? — спросил он и сам услышал, как это звучит. — Ну а кого мне спрашивать.

Он поставил ящик и отпустил.

Лента пошла.

Она взяла ящик и потащила его к весам, тихо, без рывка, ролики шли мягко, смазанные. На торце весов зажглась цифра. Лента дошла до конца, встала и стала ждать следующий.

Тарас смотрел на это секунды три.

— Тьфу, — сказал он. — Тьфу на тебя. Она нас ждёт. Она стоит тут две недели, а как я ей груз положил, сразу поехала. Аглая, ты понимаешь? У них всё готово принять. Стеллаж пустой, тара стоит, весы на нуле выставлены. Приёмщика нет.

— Ставь остальное.

— Я ставлю. Я просто говорю: сорок минут на разгрузку, и всё это ляжет на пол и будет наше. Мы его довели. Мы его на весы положили. И это стоит ровно ноль, потому что бумагу подписывает рука.

— Тарас.

— Молчу.

Он не молчал. Он ставил и говорил, и каждая фраза у него рвалась о следующее место.

— Смазка свежая. — Ящик. — Месяца два, не больше, я такую по запаху беру. — Ящик. — И положена по уму: он не наляпал на обод, он прошёл по оси, там, где её съедает. — Ящик. — Вот тут человек делал. А в Тупике у нас выполняли.

Голос у него в этом отсеке возвращался откуда-то сбоку, с задержкой, будто кто-то повторял за ним в четверть громкости. Кольцо было длинное и пустое, и оно отвечало на каждое слово.

Мы возили санками, по восемь мест за ход. На пятом ходу в приёмной стояли все сорок мест Аего-9, и чёрный контейнер мы завели последним, вдвоём, не снимая с санок. Аглая на него не смотрела. Она смотрела на стол.

В наушнике щёлкнуло.

— Молчун — группе, — сказала Рина. — Слышу вас как будто вы у меня в кружке сидите. У них ретрансляция по кольцу работает, я на ней и еду. Дан, ты дышишь как загнанный.

— Я грузу.

— Ты полтора ящика погрузил.

— Я тяжёлый, — сказал я. — Тут тяга выше.

— Сто десять, — сказал в канал док.

Ни вопроса, ни продолжения. Он просто дал знать, что сидит там с часами и считает. Про меня он не сказал ни слова, и это было хуже, чем если бы сказал.

Тон был здесь.

Он стал ближе. Угол я всё равно чувствовал, только выбрать между четырьмя радиусами не мог: тон шёл отовсюду одинаково близко, будто источник стоял сразу за каждой переборкой. Я списал это на стены: железа много, объём большой, звук идёт по кольцу. Так себе объяснение. Другого у меня не было, и я взял его.

Аглая обошла стол, отодвинула стул, задвинула обратно. На стене над столом висел лист под плёнкой.

График смен. Разлинованный на неделю вперёд, с фамилиями по столбцам: фильтры, камбуз, причал, выходной. Первые сутки были отмечены галочками от руки, каждая в своей клетке. Дальше клетки шли пустые и расписанные до конца недели. Кто-то составил его заранее, как составляют всегда, потому что в начале смены некогда.

У кого-то тут на завтра стоял выходной. Так. Стоп.

— Аглая, — сказал я.

Она подошла и прочитала. Ключи на её поясе звякнули и встали.

— Даты, — сказала она.

— Тринадцать дней назад начинается. Галочки только на первый день.

Прочитала, отвернулась и вернулась к листу. Потом сказала, глядя в него:

— Порядок такой. Приёмная, пульт, жилое кольцо, назад. Ничего не открываем. Ничего не берём. Два часа.

Мы пошли, и свет поехал с нами.

Я думал, что мы идём смотреть, что здесь случилось. Мы шли по чужому расписанию.

Диспетчерская сидела над причалами, на верхнем ярусе, и лестница туда шла крутая, с истёртой полосой посередине каждой ступени. Я считал ступени и на восемнадцатой понял, что дышу чаще, чем должен на восемнадцати ступенях. Пять сотых. Всего пять сотых.

Тарас на площадке остановился и махнул рукой вниз.

— Я к щитку. Посмотрю, чем они тут живут при потушенном свете. Кто-то же им греет воду две недели.

— Пятнадцать минут, — сказала Аглая.

В диспетчерской было светло и тихо. Пультов шесть, живой один: маячный, на нём шла короткая полоска в такт реле, которое щёлкало где-то под полом раз в полминуты. Заика. Четвёртый день Рина слушала эту железку, а она сидела здесь, размером с тумбочку, и мигала в пустую комнату.

Кружки стояли на сушилке вверх дном. Три штуки, вымытые до скрипа. Стулья задвинуты все до одного, вплотную. У нас в рубке стул задвигают, когда с него встают навсегда.

Аглая нашла тетрадь.

Толстая, в твёрдой обложке, разграфлённая от руки под линейку: дата, смена, подпись, замечания. Машинный лог у них шёл своим ходом, на ленте, а сверху человек тринадцать лет писал то же самое рукой. Почерк ровный, без наклона, цифры одинаковой высоты. Замечания короткие: «поверка датчиков — норма», «замена ленты», «третий насос шумит, смотрел, шумит по подшипнику, заказан».

Последняя запись была за две недели до сегодняшнего дня. Четырнадцать десять.

Она была дописана до конца. Подпись, черта под подписью, как под всеми предыдущими. Следующая строка пустая.

— Читай вслух, — сказала Рина в наушнике. — Дан, читай, я записываю.

Я читал. Аглая листала назад, страницу за страницей, и её палец шёл по столбцу «замечания» сверху вниз, быстро, как ищут одно-единственное слово.

Палец встал.

— Вот, — сказала она.

Несколькими строками выше последней записи, между поверкой датчиков и заменой ленты, той же рукой, тем же почерком, той же ручкой:

«Ожидается борт Молчун, причал третий. Груз принять, разместить в приёмной. Т. Олех».

Я прочитал это вслух. В наушнике стало слышно её панель: шорох ленты, щелчок тумблера и пустое место там, где у Риной всегда идёт очередь слов.

— Ещё раз, — сказала она.

— «Ожидается борт Молчун, причал третий».

— Дата.

Я назвал дату.

— Значит, я утром сказала неправильно, — сказала Рина, и голос у неё пошёл быстрее и выше. — Я сказала: нас вписали в список ожидаемых до того, как они замолчали. Я так сказала, потому что иначе некому. А теперь смотрите, что получается. Это не список. Это тетрадь. Он это писал рукой, в рабочем порядке, между поверкой датчиков и заменой ленты, у него в тот день ещё насос шумел по подшипнику, и он его записал, и заказал подшипник, и в этот же день...

Она оборвалась. Зашуршала лента.

— Стоп. Я ещё раз посчитаю.

Ключи Аглаи звякнули и встали. Я слышал в микрофоне собственное дыхание и ничего больше.

— Восемь, — сказала Рина. — Ровно восемь суток. Он записал нас за восемь дней до того, как Марика пришла к вам в весовую с чипами. Я не понимаю, как это.

— Никак, — сказала Аглая.

Она сняла с пояса флягу. Отвинтила крышку, подержала и завинтила обратно, не отпив.

Над маячным пультом висела табличка, привинченная двумя винтами: «Нач. станции Т. Олех».

— Кто такой Олех? — спросил я.

— Вот. — Аглая положила на табличку палец. — Начальник станции. Тринадцать лет писал от руки то, что за него пишет машина. Это, Дан, называется хороший работник на плохой должности. Их сюда и ставят.

Остекление шло от пояса до потолка, во всю дугу, и в нём стоял наш причал.

Молчун держался на усах в полуметре от кольца, кривой, короткий, с заплатой на левом борту, которую Тарас варил третий год и которая теперь была светлее остального железа. Он выглядел маленьким. За ним начинался край, и там гул маршрутов кончался, и дальше по этому краю, в двух сутках хода, лежала развязка, куда шесть лет назад ушёл отец. Дальше его никто нигде не записывал.

Плечи у меня опустились сами. Я стоял без веса на ногах и не считал время, и сколько его прошло, узнал по хронометру Аглаи, когда она его щёлкнула.

Схема висела у выхода.

Обычная гравированная табличка со стрелками эвакуации, такую вешают у каждого пульта: кольцо, четыре радиуса, квадратики отсеков, ходы, гермостворки. Я знал её до того, как увидел, я её выучил по справочнику в шестнадцать лет.

И вместе с ней я знал ещё кое-что.

Про каждую дверь на этой табличке я знал, пустит она меня или нет. Просто знал, как знаешь, что чайник горячий, ещё не тронув его. Дверь в санузел за спиной — пустит. Люк в кабельный канал под полом — не пустит, он на замке. Дверь в аппаратную — пустит. Шкаф с запасной лентой — не пустит.

Дверь за спиной я толкнул. Она подалась.

Люк нашёл по схеме, присел и дёрнул скобу. Замок держал.

Аппаратная подалась. Шкаф с лентой был заперт на личный код.

Ни один нормальный человек не стал бы проверять четыре двери подряд посреди мёртвой станции. Я проверил и молчал об этом, и трогал языком этот зуб дальше.

— Ничего нет, — сказала Аглая. Она задвинула последний ящик стола. — Ни акта, ни ведомости. Право подписи здесь у одного, и он не за столом.

Ящики стола, значит, тоже двери. Правило было для меня. Спорить с этим я не собирался.

— Ну, тогда ждём подписи до пенсии, — сказал я. — Зато не торгуется. Первый заказчик за рейс, который не торгуется.

Шутка легла в пустой отсек и там осталась.

— Идём в жилое. — Аглая сняла хронометр, посмотрела и повесила. — Час десять. Подпись — это рука, Дан. Рука ходит по каютам.

Тарас ждал нас внизу у лестницы и вытирал ладони о бёдра.

— Живут они так, — доложил он. — Реактор в дежурном, крутит сам себя. Вода греется по расписанию, я по манометру смотрел, там график, и он его держит. Контуры в норме, ни один клапан не хлопает. Всё выключено правильно, Аглая. Как выключают, когда собираются вернуться и включить.

Он стянул перчатку и провёл пальцем по внутренностям щитка, который так и остался незакрытым, как трогают ткань на рынке.

— Вот тут смотри. Пайка. Он её сначала прогрел, потом посадил, потом протёр. Три движения, а мог одно. — Тарас натянул перчатку обратно. — Мне бы этот парень понравился.

Жилой сектор начинался за поворотом кольца, и там нас встретила машина.

Низкая, широкая, с щётками, она ползла по полу и подметала то, что подметать было нечего. Пол блестел. Машина дошла до наших ног, встала, подумала, объехала Тараса по дуге и поползла дальше своим маршрутом.

— Здорово, коллега, — сказал Тарас ей вслед.

Из динамика под потолком заговорили.

Женский голос, спокойный, домашний, без всякой дикторской постановки: «Третья смена, доброе утро. Напоминаю: пробы воды сдать до девяти. Кто вчера не сдал, тот сдаёт сегодня, и я знаю, кто это». На слове «сдаёт» она запнулась, коротко, и поехала дальше.

Динамик щёлкнул и выключился.

Тарас остановился и два раза потрогал фонарь на поясе, проверяя, на месте ли.

— Это запись, — сказал я. — По расписанию.

— Да я понял, что запись. Просто голос знакомый. Не её, а вообще.

Столовая была большая, на двадцать человек, с длинными столами и стойкой раздачи. Подносы составлены стопкой. Кастрюли перевёрнуты на решётке, вымытые. Ветошь на кране висела чистая, расправленная за уголки, чтобы сохла. Пахло остывшим жиром и чужими специями, которых я не знал по именам.

У светового короба стояли банки.

Обыкновенные банки из-под консервов, шесть штук, в них земля и лук. Автомат капал в них по трубке раз в час. За две недели перья вымахали в полметра и легли на стекло, потому что упереться им было не во что. От банок тянуло сырой землёй, и это был единственный запах на станции, который ничего не значил.

Единственная вещь тут, которая за тринадцать дней выросла.

— Дежурство по камбузу, — прочитал Тарас со стены. — Четыре фамилии. Одна зачёркнута, сверху другая. Менялись.

Он прошёл вдоль стойки, приподнял крышку котла, заглянул и опустил.

— Слушай, а кормили тут хорошо. Ты понимаешь, что это? Это котёл на двадцать человек с двумя отделениями. Это значит, у них было первое и второе. Каждый день. Не через день, когда повару не лень.

Он открыл ящик под стойкой, посмотрел и закрыл.

— Специи не казённые, кто-то с собой вёз. Соль крупная. Уксус. Сушёное что-то, я такого и не пробовал. — Он выпрямился. — Я три года ем порошок, который надо развести, и он всё равно на вкус как коробка. У нас паёк на четверо суток, а идём пятые, и Рина банку скребёт по кругу, чтобы её на дольше хватило. А тут двадцать рож садились за стол и брали добавку.

Он снял с полки банку и повертел в руках.

— Мясо. Настоящее. Я бы за такую столовую пошёл на пограничную хоть завтра, вот честно, сюда бы и пошёл, к ним, на любую...

Он замолчал сам, на середине.

Никто ему не ответил. Лента над стойкой ползла, автомат капнул в банку с луком, и это было всё, что в столовой звучало.

— Поставь, — сказала Аглая.

— Аглая, оно пропадёт.

— Поставь. Всё, что мы отсюда вынесем, потом назовут тем, за чем мы сюда приходили.

Тарас подержал банку ещё секунду и вернул её на полку. Ровно, этикеткой вперёд, как стояла.

— Извини, — сказал он полке.

В наушнике Рина спросила про воду.

— Слушайте, а душевая у них где? По чертежу она должна быть в конце жилого, у торца.

— Она у них посередине, между кубриками, — сказал я. — Перестроили, наверное. Справочник у меня старше станции.

— Ну и как?

Тарас заглянул.

— Восемь леек, — доложил он честно. — Полотенца сложены стопкой, сухие. Кран горячий, я тронул, пошла сразу, ждать не надо. Они её изо льда гонят, тут её девать некуда.

Рина не ответила.

— Рина.

— Слышу, — сказала она. И после паузы, уже без всякой скорости в голосе: — Дан, они бы вернулись. Кто угодно вернётся туда, где горячая вода задаром. Живой пришёл бы помыться. Мёртвый лежал бы здесь. А тут ни того, ни другого, у них вода льётся, и никого.

Дальше она отвечала односложно. Тарас за всю дорогу ни разу её не поддел.

Каюты шли по обе руки. Открытых было большинство: койки заправлены, комбинезоны сняты с крючков и унесены, у кого-то на тумбочке фонарь на зарядке светит зелёной точкой тринадцатый день. В одной на переборке висел детский рисунок, приклеенный тремя разными кусками ленты в три разных времени: старая лента пожелтела, средняя посерела, свежая ещё блестела. Его возили с собой и подклеивали, когда отваливалось.

Аглая, проходя мимо, протянула руку и поправила чужой комбинезон, висевший на крючке косо. От комбинезона пахло стиральным порошком, цветочным, каким у нас на борту не пахнет ничего.

Потом она посмотрела на свою руку и убрала её за спину. Мы оба сделали вид, что смотрим в другую сторону.

По дороге я угадал ещё кладовую на втором радиусе, дверь в столовую и обе двери душевой. Все три раза сошлось.

Тон в жилом кольце встал по-другому.

Он перестал быть вокруг и стал впереди. Он шёл из-за жилого сектора, из третьего радиуса, и тянул ровно, как тянет за рукав тот, кто знает дорогу. Я поймал себя на том, что иду по кольцу не по схеме из справочника, а по нему. Ноги сами держались правой руки, ближе к тому повороту.

Я переставил себя левее и пошёл вровень с Аглаей.

Шагов было четверо.

Мы шли втроём. Тарас впереди, он скрёб правой подошвой при каждом втором шаге, у него магнитная пластина в ботинке разболталась ещё в Тупике. Аглая посередине, ключи в ритм. Я сзади. И под всем этим шёл ещё один шаг, ровный, не совпадающий.

Я встал. Всё встало вместе со мной.

— Тарас, — позвал я.

Тарас обернулся из-за поворота.

— Чего?

И полсекунды спустя, тише и дальше, из бокового прохода, куда никто из нас не сворачивал, пришло второе «чего».

Мы посмотрели туда все трое. Там было темно: панели над тем проходом не зажигались, потому что мы туда не шли.

— Кольцо, — сказал Тарас. — Звук по кольцу гуляет и приходит с другого конца. Замкнутая труба, чего ты хочешь. У меня в Тупике в ангаре так было, кричишь у ворот, а тебе от печей отвечает.

Объяснение было хорошее. Я в него почти поверил.

Аглая дошла до конца жилого сектора, заглянула в последнюю каюту, вышла и остановилась.

— Ни живых, ни мёртвых, — сказала она. — Ушли в рабочем. Воды не взяли, еды не взяли, койки заправили. И дверь за собой прикрыли.

— Куда ушли-то? — спросил Тарас.

Она не ответила. Сняла хронометр, посмотрела и в этот раз обратно вешать не стала, оставила в руке.

— Пятнадцать минут. Дальний радиус до конца, и назад.

Мимо предпоследней каюты я прошёл и вернулся.

На двери была вставлена карточка в рамку, от руки: «Верте Л., навигатор».

Навигатор. Как я.

Внутри всё как у всех. Койка заправлена, стол, на столе пусто. На полке справочники корешками наружу, штук двенадцать, и у половины корешки потёрты до белого. У меня один, вымеченный в доке за две смены, и я его знаю наизусть, потому что второго не будет.

Под столом стоял ящик на защёлке.

Я смотрел на этот ящик дольше, чем нужно.

Ничего не открываем. Ни одной двери, ни одного щитка, ни одной банки консервов.

— Дан, — сказала Аглая от поворота.

— Иду.

Слева от ножки, защёлка сверху. Я это запомнил. Сказал себе, что запомнил случайно, и пошёл.

У поворота в третий радиус нам опять попала машина.

Та же самая, с щётками. Она ползла поперёк своего кольца, в темноту радиуса, и панели над ней не горели.

— Она сюда не ездит, — сказал Тарас. Он проводил её фонарём. — Аглая, слышишь? Такие ходят по программе, по одной и той же линии, у них разметка в полу. Тут разметки нет. Ей тут нечего мыть.

— Двенадцать минут, — сказал в канал док.

— Дан, у меня от вас пошёл какой-то... — начала Рина и пропала.

В наушнике стало пусто. Ни шороха, ни несущей, ни щелчка тумблера.

— Молчун, — сказал я. — Рина.

— Связи нет, — сказал Тарас, посмотрев на свой блок. — И у меня нет. Ретрансляция по кольцу их, значит, и она в этом радиусе сдохла вместе со светом. Одно с другим. Я тебе честно скажу: так тоже не бывает. Это разные контуры, у них даже питание разное.

Третий радиус начинался как все остальные. Метров через двадцать он кончился темнотой.

Свет впереди не зажёгся. Мы прошли ещё десять шагов, и он не зажёгся снова. За спиной панели гасли, как гасли везде, и полоса освещения кончилась поперёк прохода ровной линией.

Тарас поднял фонарь. Луч бил нормально, светло, широко.

— Стоп, — сказал он. — Датчики я проверю.

Он подошёл к первой панели, поводит под ней рукой, помахал фонарём. Ничего. Постучал по кожуху. Ничего. Потом приложил к кожуху ухо.

— Живая, — сказал он. — Реле в датчике щёлкает вхолостую. Он срабатывает и команду на пускатель не даёт. Железка исправная, она просто руку мою за руку не считает.

— А что считает?

— Вот. — Тарас посветил вдоль прохода, туда, где темнота уходила в изгиб. — Ладно. Пошли на фонарях.

Я насчитал сорок шагов. Луч упирался в изгиб и не доставал до конца, и голени у меня к тридцатому шагу заныли так, как ноют на второй час разгрузки. Собственные подошвы звучали сзади с задержкой в полшага, и я знал, что это кольцо, и всё равно два раза оборачивался.

В конце стояла гермовторка. Обычная, тяжёлая, гильдейского стандарта, каких я за жизнь видел сотни: ручной штурвал в центре, консоль сбоку, резиновый уплотнитель по периметру.

Она стояла в пазу неплотно.

Щель шла по всей высоте, ровная, в палец шириной. Створку остановили на полушаге и оставили так.

Тарас подошёл, посветил в щель, ничего там не увидел и стянул перчатку.

Он поднёс тыльную сторону ладони к щели и замер.

— Воздух идёт, — сказал он.

— Куда?

— В том и дело. — Он держал руку и не убирал. — На меня. Теперь от меня. Теперь опять на меня. Медленно, ровно, туда-сюда. Сквозняк так не умеет, у сквозняка одно направление. Тут должен быть перепад, иначе он вообще не пойдёт никуда.

Он замолчал. Впервые за два часа он замолчал по-настоящему, и стало слышно, как щёлкает реле в панели, которая нас не видела. Перчатка, которую он положил на створку, мелко дрожала, и рука под ней лежала спокойно.

Аглая посветила на консоль.

— Что она говорит?

Тарас нажал запрос. Стекло засветилось и дало одну строку.

СЕКЦИЯ ПЕРЕДАНА.

Он прочитал её вслух. Потом погасил стекло, нажал запрос второй раз и прочитал ещё раз, медленнее.

Я прочитал следом сам, глазами. Слова были знакомые, оба. Вместе они не складывались ни во что.

— Передана кому? — сказал Тарас.

Он присел, залез фонарём под консоль и стал искать табличку с версией прошивки. Нашёл, поводил по ней лучом.

— Наша, — сказал он оттуда, снизу. — Стандартная, конторская, я их перебрал больше, чем ты рейсов видел. Тут пишут «закрыто». Тут пишут «открыто». Тут пишут «отказ привода», «нет питания», «разгерметизация», «блокировка по давлению». Весь список короткий, его на все станции пояса писали в одном месте. Такого в нём нет.

А я стоял в трёх шагах и делал своё.

Час я угадывал двери и не ошибся ни разу. Кладовая, люк, аппаратная, шкаф с лентой, санузел, восемь кают, душевая, дверь в столовую. Каждая говорила мне одно из двух.

Эта не говорила ничего.

Там, где у остальных было «пустит» или «не пустит», у неё стояло пустое место. Ровно ничего, и в этом ничём стоял тон.

Он шёл из щели. В полную силу, ровный, низкий, он вставал в грудине и держал её изнутри. Пломба в нижнем зубе отозвалась первой, тонко, как отзывается стекло на голос. Слюна отдавала железом. Я начал считать себе пульс и сбился на шестом ударе: у тона был свой счёт, ровный, и мой под него не подстраивался. Тогда я повернул голову. Гул станции не изменился ни на волос, а тон стал тише слева и тяжелее во лбу.

И он звал так спокойно и так по-домашнему, как зовут обедать.

Я обнаружил себя у самой щели.

Так. Стоп. Кто меня сюда.

— Дан, — сказала Аглая. — Ты в жёлтом стоишь.

Никакого жёлтого там не было. Я отступил.

Тарас взялся за штурвал двумя руками.

— Просто проверю, ходит ли.

Штурвал пошёл. Легко, без усилия, будто смазанный вчера. Тарас крутанул его на два оборота вправо. Створка не двинулась. Он крутанул на три влево. Створка не двинулась.

Он отпустил, отошёл на шаг и вытер ладонь о бедро.

— Ходит в обе стороны и не делает ничего. Заклинившая створка держит штурвал. Сорванная резьба крутится вхолостую, с люфтом и стуком. А эта крутится честно, как новая, и створка её не слушает. — Он свистнул сквозь зубы. — Слышь. Когда ручка ходит, а дверь не слушает, это уже не дверь. Поговорку я сам придумал, прямо сейчас, но она от этого не глупее.

Из-за щели пришли шаги.

Сначала один, скребущий, потом второй, ровный, с звяком ключей, потом третий. Они прошли мимо нас справа налево, в том порядке, в каком мы сюда шли: Тарас, Аглая, я. Правая подошва скребла через шаг.

Это мы. Это мы идём сюда. Мы уже пришли.

Никто не проронил ни звука.

— Назад, — сказала Аглая.

Тарас развернулся сразу, Аглая следом. Я остался стоять лицом к щели ещё полсекунды. Может, секунду.

Второй раз она меня не окликнула. Она щёлкнула хронометром у меня за спиной, и я пошёл, и всю дорогу мимо неё чувствовал, что она смотрит.

Через тридцать метров нас догнал свет, зажёгся впереди и повёл до самого поворота, и всё кольцо до шлюза станция аккуратно показывала нам, что видит нас снова. В наушнике вернулась несущая, и Рина сказала что-то про то, что у неё тут пропало полторы минуты, и она их не отдаст.

Груз стоял в приёмной, где мы его положили. Сорок мест Аеро-9 и чёрный контейнер на санках, у весов, на которых горела цифра.

— Ну и что мы с ним делаем? — сказал Тарас. — Аглая, я серьёзно. Если мы его тут бросим без подписи, это не «доставлено». Это «оставлено без приёмки». По бумаге это хуже, чем если бы мы его вообще не повезли. Первый же пристав скажет: груз чужой, вы его выкинули на мёртвой станции, гоните полную стоимость. А стоимость нам никто не называл.

— Я знаю, что скажет пристав. — Аглая стояла к нему боком и смотрела на стол. — У нас сорок две тысячи долга и мастер, который зачитал их при трёх стапелях. Он не поленится зачитать второй раз, и уже с приставом. Семьдесят за разгрузку нам платят по расписке. Расписки не будет.

— И?

— И вариантов три. Уйти пустыми. Бросить груз без подписи. Или сидеть тут и искать руку, пока не кончится воздух в баллонах. — Она посмотрела на хронометр и повесила его на пояс. — Первый вариант нам не по деньгам. Третий я только что попробовала, и мы нашли тетрадь, которая нас ждала. Значит, второй.

Она достала накладную, положила её на стол и придавила гайкой из ящика с крепежом, который стоял тут же, у весов.

— Пиши так, Рина: груз доставлен, приёмка не произведена, встречающих нет, накладная оставлена в приёмной третьего причала, время. И гайку эту я тут же и взяла, — сказала она громче, для всех. — Не унесла. Оставила.

— Аглая. — Тарас потоптался. — А если и это не сработает?

— Тогда будем работать на мастера. — Она пошла к переходу. — Двадцать минут до отхода.

Я вышел последним.

В нашем шлюзе после станции было тесно и низко, и воздух был свой, кислый, оборотный, родной. Первый же шаг по нашей палубе вышел легче, чем я его задумал: тяга отпустила, и тело стало на пять сотых чужим.

Док стоял у внутренней двери с аптечкой на ремне и погасшей сигаретой в пальцах.

Он посмотрел на Аглаю полсекунды, потом на меня, и подошёл ко мне.

— Голову ровно, — сказал он.

Я поднял руку к лицу и увидел на перчатке кровь. На подбородке было мокро. Она шла, наверное, давно, и я не заметил, когда началось.

— Это от тяги, — сказал я. — У них там единица и ноль пять.

Док взял меня двумя пальцами за запястье и стал считать. Смотрел он при этом мимо, в переборку, и губы у него шевелились.

Я стоял со шлемом под мышкой и складывал.

Запертая дверь бывает потому, что её кто-то запер. Открытая бывает потому, что кто-то её открыл. Обе понятны, и про обе есть кого спросить.

За два часа я не ошибся ни в одной двери на этой станции. Ни в одной.

Про эту мне не сказали ничего, и теперь я понимал почему: сказать было нечего. Её никто не запирает и никто не отпирает. Она открылась сама и так и осталась. Как остаётся дом, из которого вышли всей семьёй и не вернулись.

Все двери на Точке-12 были или заперты, или открыты.

Одна была ни то ни другое.

И тянуло меня только к ней.

Глава 05. Эхо

— Вот это всё, — сказал Тарас и выложил на кожих то, что осталось.

Две банки без этикеток, помятая с кашей, полпачки галет и жестянка с чаем, в которой давно был один запах. Он разложил их в ряд, как раскладывают детали, чтобы посчитать, чего не хватает. В машинном всегда стоит тепло от левого тракта, и от этого тепла всё кажется чуть съедобнее, чем оно есть.

— Раскладка была на четыре дня, — сказал Тарас. — Идут шестые. Это не на два дня. Это на два раза.

Голос у него шёл на полтона ниже обычного. Он не ложился: всю ночь тянул слабину на дальнем усе и пришёл сюда прямо оттуда, с ветошью в правой руке. Ветошь он потом искал по карманам ещё дважды.

Аглая стояла у входа боком, потому что иначе в машинном не стоят. Щель между кожухом и трубой у нас в плечо: шире не сделали, потому что тут когда-то стоял ещё один насос.

— Точка-12 молчит четырнадцатый день, — сказала она. — На нас висит сорок две тысячи. Семьдесят за разгрузку платят по расписке. Расписки нет вторые сутки. Марика не отвечает четвёртый день. Дальше сами.

— Дальше мы едим галеты и думаем красиво, — сказал Тарас.

— Дальше мы пишем акт.

Она вытащила из кармана сложенный лист и прижала его к кожуху ладонью, чтобы не сполз. Лист повело от тепла, угол загнулся вверх, и Аглая придавила его помятой банкой.

— Акт можно поделить на пятерых, — сказал я. — Он большой.

Никто не засмеялся. Я и сам услышал, что вышло громче, чем надо.

— Груз доставлен, приёмка не произведена, встречающих нет. Это у нас есть. Пристав спросит: почему нет. И вот тут мне нужна лента, съёмка и время. Моё честное слово пристав слушать не станет. А ленту посмотрит любой с улицы и скажет: там пусто.

Док сидел на ящике с расходкой, привалившись лопатками к стенке, и курил. Он спал так же, сидя, и ночью по храпу за стенкой было слышно, где он: два такта, пауза, три. Я слышал их с часу, потому что лёг в одиннадцать и в час проснулся.

С часу я не спал.

— Значит, идём второй раз, — сказал Тарас и почесал бровь тем же кулаком, в котором держал ветошь. — Ладно. А пить мы что будем, акт?

— Воду возьмём у них.

— Ты вчера сказала: ничего не выносить.

— Вчера и сказала. — Аглая перебрала ключи на поясе, туда и обратно, по одному. — Вода и воздух — расход. Он считается по тарифу, он пишется в журнал, и за него потом выставляют счёт живому, если живой найдётся. Вещи, бумаги, банки, тетради — не берём.

Тарас поглядел на банки в ряду и сказал тише:

— Мы вчера у них ничего не взяли и всё равно остались должны. Сегодня возьмём воду и будем должны за воду.

Никто ему не ответил. Наверху, в коробе над трубой, коротко проскребло: шелкун вышел на смену. Тарас поднял глаза к потолку, но даже не выругался, и это было хуже всякой ругани.

Рина влетела в машинное боком, как все, и с ходу зацепила плечом постирушку на трубе.

— Чьё это опять? Я вчера просила снять.

— Оно сохнет, — сказал Тарас.

— Оно сохнет третьи сутки, и на разгоне оно полетит в лицо тому, кто работает.

— Значит, у него будет чистое лицо.

— Тарас.

— Снимаю, — сказал он, и не снял.

Аглая ждала, пока это кончится. У неё есть такая манера: она не обрывает мелочь, она её переживает, и от этого мелочь заканчивается быстрее.

— Рина. Ты идёшь с нами.

Рина набрала воздуха и выдохнула его молча. Потом сказала:

— Я иду.

— Ты снимаешь всё, что я скажу снять, и ничего сверх. Тарас остаётся на усах.

— Стой, — сказал Тарас. — Я вчера ходил.

— Вчера ты вязал усы, и сегодня ты вяжешь усы. Если что, ты нас сдёргиваешь за минуту.

Для этого кто-то должен стоять снаружи и держать руку на лебёдке.

Он подумал секунду и кивнул. Против ремесла он не спорит никогда.

У меня к этому месту была готова целая речь. Я её всю ночь собирал, лёжа с открытыми глазами: про справочник схем, про то, что кольцо у пограничных станций одно на всех, про то, что без навигатора они будут ходить по чужому дому наугад. Я даже знал, где сделать паузу.

Док встал с ящика раньше, чем я начал.

— Навигатор идёт, — сказал он Аглае.

Я закрыл рот. Речь стала не нужна вся сразу, целиком, и я сглотнул и переступил с ноги на ногу, потому что деть её было некуда.

— Возвращаетесь по моему слову, — добавил он. — Не по хронометру. Скажу — назад, и назад.

— Почему? — спросил я.

Он глянул на меня в этом жёлтом дежурном свете, где не соврёшь про цвет лица, и потушил сигарету о ладонь.

— Потому что хронометр у Аглаи считает время. Я считаю тебя.

Аглая сняла хронометр и щёлкнула им.

— Полтора часа, — сказала она. — Не два. У нас в ходовой аптечке воздух на два, а вчера мы вышли впрытик, и я не хочу ещё раз считать в уме на обратной дороге. И запишите себе все: отход в двадцать два ноль-ноль. С грузом или без.

Двадцать два ноль-ноль.

От кожуха тянуло теплом в спину, и я стоял и считал. От семи утра до отхода пятнадцать часов. Потом Точка-12 останется за кормой, и никто и никогда не пойдёт сюда вторым рейсом: сюда и первый-то раз пошли за тройную цену.

А мне туда надо.

Переходный рукав между нами и кольцом — гофрированная труба в полтора человека, с поручнем по одной стороне. Под ногами настил из решётки, а под решёткой полметра зазора и дальше ничего. Тарас нарастил рукав с вечера, потому что вставить вплотную к холодному причалу он отказался ещё вчера.

Рина шла первой и держалась за поручень двумя руками.

— Мне нормально, — сказала она.

— Никто не спрашивал, — сказала Аглая.

— Мне абсолютно нормально. Я просто держусь. Тут все держатся.

На середине она отпустила одну руку. Просто взяла и отпустила, и дальше шла так.

У наружного люка есть площадка, где рукав садится на кольцо, и там мы встали, потому что Тарас снаружи добирал слабину и попросил две минуты. Отсюда видно много. Молчун стоял сбоку, чуть ниже нас, на двух усах, маленький и кривой, с заплатой на левом борту, которую Тарас ставил четыре года назад и с тех пор красил трижды. Кольцо Точки-12 уходило вправо ровной дугой, и на нём горели причальные огни, все по регламенту, зелёный и белый.

А дальше был край.

Там, где рельс истончается, гул маршрута садится и делается редким, как дыхание спящего, и после него уже нет ни одной размеченной дороги. Смотрел я туда. Ничего не происходило. Две минуты никто ничего не говорил, и это была лучшая минута за шесть суток.

— Красиво, — сказала Рина.

Я не ответил и не повернулся.

Потом она щёлкнула тумблером на переносной, и лицо у неё поехало.

— Так. Аглая. У них трансляция говорит.

— И что.

— Она говорит не по часам. — Рина прижала наушник плотнее и заговорила очередями, как всегда, когда думает вслух. — Я с вечера слушаю их кольцо. За ночь у них прошло четыре объявления: пробы воды, смена фильтров, потом опять фильтры, потом доброе утро третьей смене. Я время выписала, все четыре легли ровно по часам, как расписание вахт. А сейчас идёт объявление, которого в этой четвёрке нет. И идёт оно не в свой час. То есть либо у них поехало реле по времени, либо...

Она замолчала и с ненавистью поглядела на переносную.

— Либо что? — спросила Аглая.

— Либо кто-то нажимает кнопку. И я это не докажу, потому что лента ночная осталась на борту, а тут у меня в руках коробка с наушником и всё. Я вам сейчас как та бабка: слышала, а показать нечего.

Аглая перевела взгляд на кольцо.

— Кнопку нажимают с пульта оповещения. Где он у них стоит?

— На сборном посту, — сказал я. — У основания третьего радиуса. У них по чертежу пост всегда там, где радиус входит в кольцо, чтобы смена из любой точки добежала.

Справочник схем я выменял в доке за две смены и помню его лучше, чем собственную каюту. Балаболка эта их стояла у меня в голове ещё до того, как Рина щёлкнула тумблером.

Тарас в канале перестал свистеть.

— Третий радиус, — сказал он. — Аглая, тогда сорок пять минут, и я вас дёргаю.

— Полтора часа, — сказала она. — Пошли.

На сборном посту горел свет.

Он там просто горел, ровно и постоянно, и не гас за спиной, как везде на кольце. Мы вышли из тёмного коридора в освещённый зал, и первые секунды я щурился.

Зал оказался широким и низким, и я сразу задел плечом угол стенда с графиком дежурств, потому что стенд у них висел прямо в горловине. Аглая пошла влево, к нише с пультом. Подошва скрипнула по полу так, что стало слышно, до какого блеска этот пол драили каждую смену. Скамьи вдоль стен, табло сбора над выходом в радиус, настенные часы над табло. По левой стороне ряд шкафчиков со скафандрами: номер выбит на дверце, а фамилия написана от руки, разными почерками, и часть подписана поверх старых.

Всё вылизано. И в стене напротив входа отражался весь зал, вытянутый и мутноватый, как в плохом зеркале.

Здесь было сухо. Щипало в носу, ткань комбинезона потрескивала при движении, и, когда я взялся за косяк, в ладонь коротко кольнуло искрой.

И здесь была ещё одна вещь, о которой я промолчал.

Со вчерашнего дня меня тянуло к той створке в конце радиуса, ровно и в одну сторону, как тянет на запах еды. А тут тяга шла сквозь зал вбок и наискось, будто дорога вела через комнату, а комната была ей не нужна.

— Пульт в нише, — сказала Аглая. — Рина, снимай сначала общий вид.

Рина подняла переносную, ткнула большим пальцем запись и не сняла ничего.

— Вы слышите?

Я слышал. Мы все слышали.

В зале разговаривали люди. Много. Слитно, вразнобой, с той плотностью, какая стоит в столовой перед сменой: кто-то смеялся коротко и на выдохе, кто-то стучал дверцей, кто-то жевал, кто-то тянул на весь зал, что фильтры опять забило и он больше в эту нишу не полезет.

Зал был пуст.

Мы полминуты искали динамик. Аглая обошла нишу, коротко кашлянула в кулак от сухого воздуха и полезла смотреть за стенд; я задрал голову к решёткам; Рина крутилась на месте с переносной в вытянутой руке и вдруг остановилась.

— Динамик тут ни при чём, — сказала она. — Динамик у них один и вон он. Из динамика всё идёт из одной точки, я бы это услышала сразу. А тут звук идёт отовсюду и с правильных расстояний. Понимаете? Тот, кто про фильтры, он дальше. Тот, кто жуёт, он вот здесь, у второй скамьи. Оно расставлено по залу. Так динамик не умеет.

— Пятнадцать минут, — сказал док в наушнике.

Дверца шкафчика хлопнула. Первая слева, за ней соседняя, потом третья, и дальше по ряду, по одной, с паузами ровно такой длины, за какую успеваешь достать своё и закрыть за собой. Скамья у стены скрипнула и просела: сначала в одном месте, потом рядом.

Аглая подошла и положила ладонь туда, где просело.

Поддержала.

Убрала руку и спрятала её за спину, как вчера у чужого комбинезона на крючке.

— Дан, — сказала Рина очень тихо. — Не туда смотри. В стену смотри.

Я посмотрел в стену.

В ней был полный зал народу.

Нет. Нет-нет-нет.

Люди сидели на скамьях и стояли у шкафчиков. Обычные, в рабочем, в таких же серых комбинезонах, как на крючках в жилом кольце. Один сидел с мокрой головой и вытирал её рукавом, и рукав у него потемнел. Двое у стенда договаривались доиграть партию после смены и спорили, чей ход. Женщина в возрасте искала свою кружку и вслух говорила, что её опять взяли. Мужчина у входа доедал на ходу и, доев, сунул ложку в нагрудный карман, как суют её те, кому лень идти до мойки.

Один поправил чужой комбинезон, висевший на крючке косо.

Я обернулся к залу.

В зале никого не было. Скамьи пустые, у стенда пусто, ложки нет, кружки нет.

Оглянулся на стену — и они там были все.

— Часы, — сказал я.

Настенные показывали тринадцать десять. Аглая, не глядя, повернула хронометр циферблатом к себе.

— Восемь сорок, — сказала она.

Табло сбора над выходом загорелось. И тогда пошла трансляция.

Женщина читала по бумажке. Слышно было, как она добывает воздуха в середине фразы, и как на слове про смену спотыкается и берёт его заново, с той же самой короткой запинкой, по которой мы вчера все узнавали объявления про пробы воды. Она назвала смену и попросила собраться. Никого не поторопила.

— Это она, — сказала Рина. — Это тот же голос. Это не диктор, диктор так не запинаясь, это кто-то свой, кого посадили начитать сетку, потому что больше никому...

Она замолчала, потому что в отражении начали вставать.

Они вставали спокойно. Так встают на планёрку: кто-то договаривал фразу, кто-то допивал, женщина с кружкой наконец её нашла и поставила на скамью доньшком вниз. Никто не оглядывался на дверь и не смотрел на потолок.

Впереди у выхода в радиус стала женщина. Со спины: короткая стрижка, комбинезон, руки в карманах.

Не оборачивайся.

Она обернулась вполоборота, и лица я толком не разобрал, потому что отражение мутное, а свет за ней.

Она сказала одну фразу.

Короткую. Я слышал её и не разобрал ни слова. По интонации так говорят «пойдёмте, я покажу».

И они пошли.

Спокойно, в два ручья, потому что горловина узкая. Один пропустил всех вперёд и присел завязать шнурок, потом догнал. Никто не бежал. Никого не тащили. Никто не оглянулся.

— Сорок пять, — сказал док в наушнике.

Зал в отражении опустел. И тогда с другой стороны вошёл человек с толстой тетрадью в сером картоне. Он сел на край скамьи, дописал строку, поставил подпись, подчеркнул её и положил на колено ладонь, как кладут, когда всё сделано. Потом встал, дошёл до ниши, погасил там свет, сунул тетрадь под мышку и вышел в тот коридор, что ведёт к лестнице.

Наверх. К верхнему ярусу, в диспетчерскую, где мы её вчера и нашли.

Часы на стене показывали четырнадцать десять.

Свет в зале погас.

И зажёгся снова. Часы показывали тринадцать десять. У шкафчиков стучала первая дверца.

— Девять сорок, — сказала Аглая. — Час. У нас на это ушёл час.

Она сказала это ровно, и только на слове «час» голос у неё сел, как садится сорванная нота. Крышку фляги она отвинтила и завинтила обратно, не отпив.

— Стоп, — сказала Рина. — Стоп-стоп-стоп.

Она вцепилась в переносную двумя руками и слушала, наклонив голову, и лицо у неё было злое, как у той, кто считает в уме и боится сбиться.

— Оно пишет, — сказала она.

— Что.

— Оно не показывает нам кино, Аглая. Оно пишет. Слушайте. В первый раз этого не было.

Я послушал. В гомоне были наши шаги от входа. Скрип нашей скамьи, той, где Аглая держала ладонь. И её кашель в кулак, короткий, сухой, тот самый, что был у неё, когда мы искали динамик.

— Мы уже внутри, — сказала Рина. — Оно пишет поверх. Оно час назад записало их, а сейчас записывает нас, и я не знаю, что оно с этим делает дальше, потому что я такого никогда...

В наушнике заговорил Тарас, и слова у него оборвались на середине.

— Аглая, я на дальнем усе перетянул, и теперь у меня по датчику...

Несущая пропала. Ровно, без хрипа, будто выключили тумблер.

— Связь, — сказала Рина. — У меня нет ни канала, ни ретрансляции, вообще ничего. Ни Тараса, ни дока. Глухо, как в бочке.

Аглая оглядела нишу и выход в радиус.

— Двадцать минут у нас осталось, — сказала она. — Снимаем пульт и уходим.

Тарас пришёл через четыре.

Он вышел из тёмного коридора в самый гомон, с фонарём в руке и с разводным ключом на поясе, и первое, что он сделал, это закрылся от света ладонью, в которой держал фонарь. Фонарь он так и не выключил. Второе — увидел, что зал полон.

Я не знаю, что он увидел. Я думаю, он увидел то же, что мы, только с ходу и без всего, что было до этого: светлый зал, много народу, все встают и идут к выходу.

И он пошёл с ними.

Пошёл он обычно, как ходят по своим делам: развернулся вполоборота, пропустил кого-то, поправил фонарь и двинулся в общем ручье, потому что все двинулись.

Куда, дурак.

— Тарас! — Аглая взяла его за плечо.

— Сейчас, — сказал он нормальным голосом. — Минуту.

И пошёл дальше.

Она вцепилась в него двумя руками, упёрлась ногой в скамью, и он потащил её за собой, как тянут за рукав того, кто идёт по своим делам и не считает, что его держат.

И я знал, куда они идут.

Это надо объяснить, и я не умею. Вчера так было про двери: пустит, не пустит, и всё. А тут я знал про пол. Знал, где шли ноги: как горловина сужается у второй скамьи, потому что там угол; где ручей разделился надвое и снова сошёлся; где один присел со шнурком и все обтекли его слева. Так ночью на пустыре нога сама находит тропу, которую глазами не видно: там земля твёрже, и ты идёшь по ней, не думая. Дорога лежала через зал наискось и дальше в третий радиус.

Ноги у меня стояли ровно на ней.

И я понял единственную вещь, которую тут можно понять. Оно писало поверх. Оно повторяло час и подписывало в него всех, кто в него зашёл. Значит, ему нужно то, что уже было.

Значит, надо дать ему то, чего не было.

Я шагнул вбок, встал поперёк дороги и взял Тараса за ремень.

И не пошёл.

Все шли. Я стоял.

Гомон рассыпался: голоса разъехались по времени, кто-то договорил фразу дважды, смех оборвался на середине. Отражение в стене сбилось с шага, как сбивается строй, когда передний останавливается. Женский голос по трансляции повторил одно слово. Потом повторил его ещё раз.

В груди встало железо, и полезло вверх, в горло.

Свет погас. Весь, до дежурного.

И полсекунды не было ни одного звука. Ни гомона, ни шагов, ни вентиляции, которая шумела с той минуты, как мы вошли в кольцо, и которую я перестал слышать через две.

Ничего.

Потом под ладонями оказался холодный пол, а край скамьи упирался мне в лопатку. Куска, в котором я сюда сел, у меня не было. Фонарь Тараса лежал рядом и светил в стену. Под носом было мокро, и на ладони, когда я её опустил, было мокро тоже.

— Сидеть, — сказала Аглая.

Я поднял голову. Свет в зале вернулся: обычный, дежурный, тусклый, вполнакала. Часы на стене стояли. Табло над выходом было погашено.

Зал был пуст, и пустой он был честно, без второго дна: в стене напротив тоже никого, кроме нас четверых, вытянутых и мутноватых.

Аглая всё-таки дошла до ниши. Постояла над пультом, тронула клавишу набора и вернулась.

— Лампа не горит, — сказала она. — Он мёртвый. Снимать нечего.

Тарас сидел на скамье и держал фонарь двумя руками.

— Я вошёл, — сказал он. — И дальше вы меня держите. Между этим у меня ничего.

Рина стала рассказывать ему, что было между. Он слушал и выкладывал на скамью карманное: фонарь, ключ, зажигалку, свёрнутую в трубку жестянку с шайбами. Пересчитал. Убрал обратно. Через минуту вынул всё это снова и пересчитал второй раз, уже молча, и Рина замолчала тоже. Он не сказал ни слова поперёк, а он всегда говорит поперёк. Я поймал себя на том, что смотрю ему в затылок и не могу отвести глаза.

— Кто на лебёдке? — спросила Аглая.

— Никто, — сказал Тарас, не поднимая головы. — Усы стоят так.

Рина отошла к шкафчикам и открыла первый.

Внутри висел скафандр.

Она открыла соседний, третий, четвёртый. Потом перешла на другую сторону и открыла ещё три, подряд, быстро, дёргая дверцы.

— Все на месте, — сказала она. — Аглая. Тут все на месте.

Она провела пальцем по ряду фамилий, написанных от руки, и посчитала вслух, губами.

— Девятнадцать шкафов. Девятнадцать скафандров. Ни одного не взяли.

Потом она отмотала ленту и послушала её с полминуты, стоя ко всем спиной.

— Пусто, — сказала она. — Полтора часа записи, и на ней мы. Наши шаги, наши голоса, кашель Аглаи. Их там нет ни одного.

Назад мы шли медленно.

По кольцу свет опять зажегся впереди и гас за спиной, как вчера, и после зала, где он горел всё время, это выглядело почти вежливо: станция шла с нами и подсвечивала дорогу.

У технической ниши на втором сегменте Аглая остановилась и открыла кран.

— Пиши, — сказала она Рине. — Вода питьевая, отбор со станции Точка-12 на борт Молчун, расход по счётчику, тариф пограничной станции, время. Счётчик сфотографируй до и после.

Рина писала. Тарас держал шланг и вдруг заговорил, и говорил долго, и ни разу не смешно.

— Я вот второй час думаю, — сказал он. — Не про то, что там было, это пусть Рина думает, у неё голова под это заточена. Я про другое. Я на своём веку видел, как люди сходят с корабля. По-разному видел. Когда горит, когда воздух травит, когда просто зарплату три месяца не платят. И всегда, всегда у них в этот момент лицо. Он или напуган, или зол, или ему стыдно. А эти...

Он посмотрел на счётчик, и мысль у него уехала.

— Сколько там набежало? Ладно. Аглая, им не было страшно. Вообще. Вот совсем.

Он перехватил шланг другой рукой, плеснул себе на ботинок и коротко выругался в стенку.

— Рина мне про мужика со шнурком рассказала. Он присел и завязался. Ты когда-нибудь видела, чтобы по тревоге шнурки завязывали?

— Не по тревоге, — сказала Аглая. — Табло горело, но это был не сбор.

— А что это было?

Она не ответила.

Рина шла рядом со мной и складывала своё, вслух, как всегда, потому что молчать ей хуже всего.

— Голос один и тот же, — сказала она. — Из трансляции и та, что впереди встала. Один голос, я за это отвечаю, я на голоса не ошибаюсь. То есть сетку объявлений у них начитывал свой. Кому дали микрофон и сказали: наговори про пробы воды. Обычно это кто? Тот, кто на пульте много сидит. Диспетчер или...

Она осеклась.

— Или навигатор, — сказала она. — Вы мне вчера сами эту карточку в канал прочитали. Верте Л., навигатор. Я всё пишу, мне капитан велела писать, у меня это на ленте лежит.

Я не сказал ничего.

Я вчера стоял в этой каюте и запоминал, где у неё под столом ящик на защёлке, слева от ножи. Сейчас я об этом думал, и вслух это было никак не сказать.

Рина подтолкнула меня локтем.

— А я, между прочим, в рукаве шла без рук. Ну, почти. Одной держалась, а вторая просто...

Она замолчала на середине и дальше шла молча.

Аглая остановилась посреди кольцевого перехода. Она за все шесть суток не останавливалась ни разу без дела.

— Один вопрос, — сказала она. — Куда ведёт третий радиус?

Мы стояли втроём и молчали. Ответ знали все. Никто его не произнёс.

Аглая оглядела нас, поправила лямку и пошла дальше.

В шлюзе Молчуна док взял меня за запястье и стал считать.

— Голову ровно, — сказал он.

Он смотрел мне в лицо, чего раньше не делал ни разу.

— Сколько ты потерял?

— Секунд десять. Может, меньше.

Он отпустил руку и убрал ладонь в карман.

— Ты вернулся не по моему слову, — сказал он.

Отход никто не отменил. Двадцать два ноль-ноль стояло.

Пока я стягивал ботинки в шлюзе, у меня в голове стояли девятнадцать открытых шкафчиков и девятнадцать скафандров в них. Они шли за дверь и знали, что там можно дышать.

У себя я застирал воротник в третий раз за рейс, повесил его на трубку лампы и лёг. До двадцати двух оставалось одиннадцать часов.

Я думал про женщину, которая встала впереди.

Она сказала одну фразу. После неё девятнадцать взрослых людей поставили кружки, встали и пошли, и один из них по дороге присел завязать шнурок, потому что торопиться было незачем.

Полдня я перебирал слова. Я знаю, что говорят, когда зовут: за деньги, за долю, за то, что иначе нельзя, за то, что там лучше кормят. Я вырос в Тупике, у нас так зовут на любую работу, и я знаю цену каждой такой фразе. Ни одна из них не поднимет со скамьи девятнадцать человек, которым только что выдали горячую воду и полный котёл на обед.

Значит, была другая.

Нота из-за створки шла ровно, издалека, сквозь два сегмента кольца и сквозь борт. Она стояла в груди и никуда не торопилась.

Часов в пять я сел на койке.

Окажись я в той смене и скажи она это мне, я бы встал и пошёл.

Глава 06. Слепое пятно

— Груз доставлен на третий причал, приёмка не произведена, встречающих нет, — читала Аглая с листа. — Экипаж станции отсутствует. Следов аварии и разгерметизации не обнаружено.

Лист она держала за верхний край, чтобы не мять. Меньше этой каюты на Молчуне был только кубрик: койка, привинченный стол, сейф под столешницей, на переборке планка с судовыми журналами за много лет, корешки подписаны от руки и выцвели по-разному. Над койкой судовые часы, казённые, без стекла. Кружка на углу стола, и та пустая, вымытая и перевернутая.

Здесь ничем не пахло. Я заметил это сразу, как вошёл, и не сразу понял, почему заметил: шесть суток я дышал машинным, кубриком, чужой станцией, а тут не было даже табака.

По дороге сюда со мной случилась глупость. Я шёл по второй палубе и про каждую дверь знал заранее, пустит она меня или нет. Санузел пустит. Кладовая пустит. Каюта пока не пустит, потому что он закрывается изнутри, когда спит сидя. Ни одной новости. То же самое, что вчера на чужом кольце, только здесь оно не стоило ничего: свои двери я и без этого знаю наизусть.

— Посторонних воздействий не обнаружено, — дочитала Аглая.

И замолчала.

Она оставила место, в которое можно было шагнуть, и держала его открытым дольше, чем нужно, чтобы перевернуть лист.

Я не шагнул.

— Подписывают двое, — сказала она. — Ты и я.

— Внутри был Тарас.

— Тарас у меня был внутри и вчера, и сегодня, — она прижала лист к столешнице и провела по сгибу. — И если Тараса спросят про сегодняшнее утро, он начнёт рассказывать про людей в стене. А пристав спросит.

Я сел на край койки, потому что стула в каюте не было.

— А в бумагу это как?

— Никак. — Аглая подвинула корешок судового журнала на планке, пока он не встал вровень с остальными. — В бумагу идёт то, что можно показать пальцем. Груз стоит в приёмной, накладная на столе, гайкой придавлена. Это я покажу. Часы в зале показывали чужое время. Это я чем покажу?

— Лентой Рины.

— На ленте пусто. Она сама сказала: полтора часа записи, и на ней мы. — Аглая посмотрела на лист. — Скафандры я тоже не пишу. Девятнадцать штук в шкафчиках, все на месте. Пристав спросит: и что? И я скажу: и всё.

Акт она читала с той же скоростью и на том же выдохе, с каким минуту назад читала графу с массой груза, и мне от этого делалось хуже, чем было бы от крика. Я пятый день врал этим людям тем же способом. Не сказал ни одного слова, которого нельзя предъявить.

— Марика молчит четвёртый день, — сказал я, чтобы говорить хоть о чём-то.

— Она не молчит, — Аглая повернула лист ко мне и придвинула ручку. — Молчит тот, кто не слышит. Наш канал она принимает. Просрочка вторые сутки, штрафа она не требует. Она не отвечает. Это разные вещи, Дан, и вторая мне не нравится сильно больше.

Я взял ручку. Ручка была капитанская, тяжелее моей, и с непривычки рука давила сильнее, чем надо.

— Сегодня в зале, — сказала Аглая, не поднимая глаз от листа, — ты стоял не там, где стояли все. И Тараса ты взял за ремень раньше, чем я успела обернуться.

Я держал ручку и ждал.

Она поставила точку в конце строки и нажала так, что бумага прогнулась.

— Сорок две тысячи, — сказала она другим голосом. — Семьдесят по расписке, расписки нет. Расписывайся.

Я расписался. За всю жизнь я расписывался на документе второй раз, первый был на практикантском допуске в Тупике, и там у меня получилось коротко и зло. Тут рука пошла иначе: хвост у последней буквы уехал вниз и в сторону, будто её тянуло со стола. Я посмотрел на эту подпись и не узнал её.

В дверь стукнули. Рина держала катушку ленты обеими руками, как держат горячее.

— Мне нужно, чтобы вы послушали, — сказала она. — Я не понимаю, что это.

— Что там? — Аглая не подняла головы от акта.

— Если бы я знала, я бы сказала, что там. Я поэтому и пришла.

Аглая посмотрела на часы над койкой.

— Слушать буду в двадцать один, — сказала она. — До этого мы снимаем усы, а на это нужны свет и люди.

Рина открыла рот и закрыла. Ушла она быстро, и лента у неё в руках всё ещё была прижата к животу.

Аглая сложила акт вдвое и убрала в сейф под столом. Дверца сейфа села с первого раза, чего с ней обычно не бывало.

Ложная строка в этой бумаге была одна. Посторонних воздействий не обнаружено. Утром я держал это воздействие обеими руками, при капитане и при двух свидетелях, а теперь под строкой стояла моя фамилия. Врал в этом рейсе я. Теперь врала бумага, которую я подписал.

К вечеру свет на второй палубе переключили на дежурный, вахту сменили, и Тарас лежал на боку в проходе между кабельной косой и вентиляционным коробом и разговаривал с коробом.

— Ты выйдешь, — говорил он. — Ты обязательно выйдешь. У тебя там сухо и жрать нечего, а тут я.

Проход был такой, что двое расходились только боком. Кабельная коса шла вдоль переборки третьего трюма, толстая, стянутая хомутами в шаг. Хомут под рукой был холоднее, чем ему положено быть на жилой палубе: за переборкой с самого отхода стоял ноль и держался там сам, без компрессора. Тарас доказал это на вторые сутки, приказ капитана вопрос закрыл, и с тех пор он про холод молчит.

Ловушка стояла новая. Банка, проволочка, кусок горелой изоляции внутри. И вторая банка, положенная набок в полуметре, у самого выхода из короба.

— Это зачем? — спросил я.

— Это самое главное. — Тарас приподнялся на локте. — Ты зверя не переспоришь. Он умнее тебя по своей части, он в этом коробе живёт, а ты в него раз в неделю фонарём светишь. Значит, спорить не надо. Надо ему оставить один проход. Не два. Один. Он в него и пойдёт, потому что везде остальное закрыто, и он будет думать, что сам выбрал.

Я сел на корточки у косы и промолчал.

Утром в зале я сделал наоборот. Все шли одним проходом, и я встал в него и не пошёл.

— Слышь, — сказал Тарас. — Ты чего молчишь? Ты обычно тут язвишь.

— Думаю, где у тебя ошибка.

— Ошибка у меня была в первой банке. Она щёлкала на выходе, а надо на входе.

Банка щёлкнула на входе.

Тарас дёрнулся так, что приложился плечом о короб, и сказал в металл нехорошее слово. Потом он лежал и смотрел на банку, а банка стояла и мелко тряслась.

— Взял, — сказал он. — Я его взял.

Прибежала Рина, из-за поворота, с наушником на одном ухе, и присела рядом с ходом.

— Что там? Он большой? Тарас, он большой?

— Он огромный. Он тут всё сожрал.

Наушник у неё бормотал тонко и по слогам. Рина повела плечом в его сторону.

— Это дед с сто девятнадцатой. Прогноз по узлам читает. Привет, дед, помолчи пока.

Огромным Гвоздь не был. Тарас накрыл банку ветошью, перевернул, вытряс шелкуна на руку и придержал большим пальцем. Тварь села, часто дыша боками, и весила она меньше гайки, которую Тарас носит на шнурке.

— У него зуб кривой, — сказала Рина. — Наружу растёт. И бок лысый.

Тарас поднял руку со шелкуном над головой и объявил в короб, что второй механик задержан при исполнении. Потом посмотрел на свою руку и замолчал.

— И чего мне с тобой делать, — сказал Тарас шелкуну.

— Он тебе изоляцию сожрал, — напомнила Рина.

— Он мне её на четырнадцать тысяч сожрал. Я считал.

— Ну.

— Что ну. — Тарас смотрел на ладонь. — Ты его видела? В нём веса нет. Я его в ветошь заверну и что, за борт? Он тут три месяца работал. Он у меня в судовой роли вторым механиком записан.

Он вытряхнул из кармана шило и стал бить дырки в крышке.

— Раз. Два. Три.

— Мало, — сказала Рина. — Им много воздуха надо, я читала.

— Где ты это читала?

— Не помню. Но читала.

— Четыре. Пять... Тьфу на тебя, сбился. Раз. Два.

Он добил крышку до восьми дырок, посадил Гвоздя внутрь и придавил её большим пальцем.

— Всё. Записываю официально: жалование изоляцией, по норме, а не как он тут привык.

Рина фыркнула в кулак.

Еду принесли сюда, потому что тащиться в камбуз было незачем. Тарас вытряхнул на кожух остаток: банка тушёнки, полбанки крупы, разваренной ещё утром, и четыре галеты. Третий день мы доедали то, что осталось от раскладки.

Тарас загрёб ложкой много, а в рот отправил половину, остальное придержал на краю банки. Рина отломила от галеты угол и сказала, что она с обеда сытая, хотя обеда сегодня не было ни у кого.

Док подошёл последним и сел на корточки у короба, так, чтобы мои руки были у него перед глазами снизу.

— Мне не надо, — сказал он. — Я ел.

Никто не спорил. Мы просто все взяли по чуть меньше, и банка кончилась не так быстро.

Я потянулся за галетой и оперся рукой о держатель кабеля на переборке.

Держатель я знаю: утром брался за него в перчатке и запомнил, какой он. Я подержался, взял галету, отпустил и только тогда посмотрел на руку.

Кожа на трёх пальцах и под большим стала как обмылок, с восковым блеском, и складка на суставе разгладилась не сразу.

Больно не было. Совсем. Я подождал ещё немного, честно подождал, чтобы схватило хотя бы жжением, и не дождался. Тогда я убрал руку в карман и стал греть её о бедро, и жевал галету левой.

Док смотрел прямо на меня.

Он не подошёл.

За этот рейс он подходил ко мне шесть раз, и я привык, что подходит всегда: лепёшка, кружка, салфетка, рука на плече, запястье, снова запястье. Сейчас он катал в пальцах незажжённую сигарету и не двинулся с места.

Крови у меня не было полдня. Утром в зале шла третий раз за рейс, а с тех пор ничего, и за эти полдня я держался как за хорошую новость.

— Так, — сказал Тарас и хлопнул себя по коленям. — А теперь о главном. Пари я закрыл. Я его закрыл до отхода, как ставил, при свидетелях. Доля за рейс моя.

— Твоя, — Рина засмеялась в голос. Док кашлянул в кулак, и это у него считается за смех.

— Моя. — Он подержал банку с Гвоздём на весу и посмотрел на неё против света. — Доли за рейс, правда, скорее всего не будет.

Смеяться перестали все сразу.

Док стоял у стойки со скафандрами, и, когда я взялся за свой, он взял меня за правую руку и повернул её к лампе. Спрашивать ничего не стал.

— Идёт, — сказал он в трансляцию, капитану.

Мне достался тот скафандр, в котором я ходил на кольцо. Тарас лез в третий, у которого подклинивает стопорное кольцо, и три раза ударил ладонью снизу вверх в блестящую вмятину у затыльника. Потом он проверил мой шлем, чего за ним раньше не водилось: крутанул кольцо, послушал, вернул.

— Покойника не беру, — сказал я первым. — И не называю.

Тарас всё равно сплюнул через плечо, прежде чем натянуть перчатку.

Люк открылся на голую черноту.

Наружу мы вышли по скобам, приваренным вдоль борта: скоба, полметра, скоба. Я застегнул страховочный конец за первую, отстегнул от второй, перецепился на третью, и так, перебором, всё время держась хотя бы одним карабином. Ниже пояса начинался борт Молчуна, серый в свете шлемного фонаря, побитый, с заплатой на левой скуле. Заплату варили четыре года назад, при мне, и красили с тех пор трижды. В последний раз банку держал я, и краску Тарас взял не того серого, и это до сих пор видно. Дальше борта не было ничего.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.